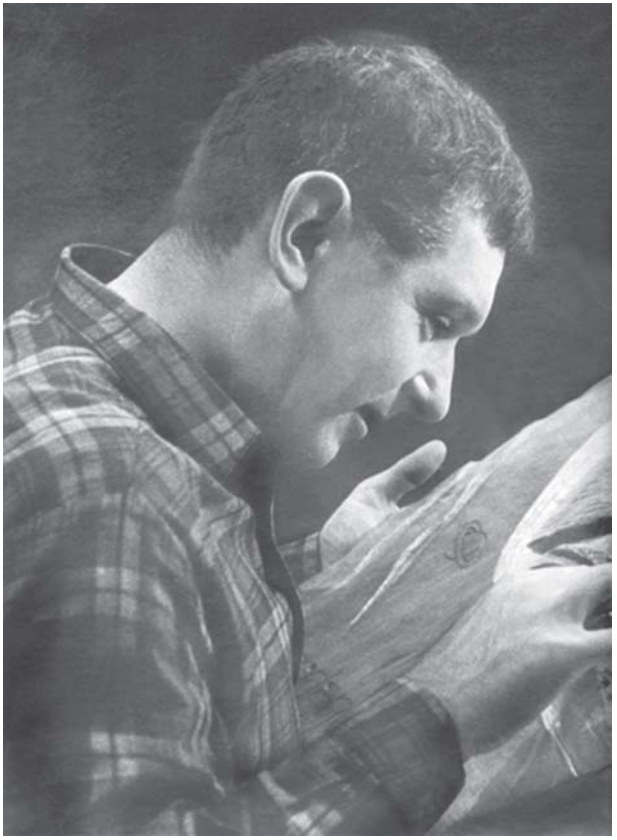
Посвящаю издание этой книги
светлой памяти моего отца Николая Димчевского.

Екатерина



Николай ДИМЧЕВСКИЙ

СЕМЕРИК СТИХОВ

Санкт-Петербург
2009

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
Д 67

От всего сердца хочу поблагодарить всех тех,
кто помог этой книге выйти в свет:
мою маму, Бабаеву Лидию Федосеевну,
которая во всём вдохновляет и поддерживает меня;
давнего друга моего отца, Розина Александра Викторовича,
который написал прекрасное воспоминание об отце и очень
помог мне в подготовке книги, а также Рассадину Нину,
Пересторонину Ольгу и Карш Валентину,
которые профессионально и от всей души помогли
в оформлении и издании этой книги.

Николай Димчевский
Д 67 Семерик стихов. СПб.: 2009. – 608 с.

Николай Димчевский – талантливый поэт нашего времени. Его стихи пронизаны любовью к природе, к Родине, к простому человеку-труженику, мастеру своего дела, каким был и он сам.

Настоящий сборник подводит итог его творческой деятельности, он объединяет шесть книжек его стихов, изданных ранее, и последнюю книгу новых стихов, а также некоторые еще не публиковавшиеся стихи. Мы надеемся, что эти искренние откровения автора найдут отклик в сердцах любителей поэзии и широкого круга читателей.

© Бабаева Е. Н., 2009

Несколько штрихов к портрету друга



...Даже самые судьбоносные поступки он совершал с органической деликатностью интеллигентного человека (по Аверинцеву – «стараясь занимать как можно меньше места»).

...В первом браке у Коли не было детей. До тех пор, пока после пожара в селе Мосолово на Рязанщине (там жили его родичи) не осиротели двое малюток. Коля с женой усыновили их, удочерили, воспитали, дали образование, вывели в люди... Но ему мечталось о кровных продолжателях рода. И после тяжелых перипетий, в позднем втором браке вновь появились девочка и мальчик. И заново, что называется, от горшка до свадьбы, был прожит весь родительский цикл.

Колю восхищали люди-умельцы. Искусный художник-жестянщик; корабельный кок, изящно по морям, по волнам «жонглирующий» поварским инструментом; старый лекарь деревьев на городском бульваре; добрая ведунья целебных трав; или вооруженный немыслимым запасом терпенья школьный учитель, – они и им подобные – герои его стихов. Мастерство считал он истоком и непременной составляющей таланта.

И сам был талантливо мастеровит. В годы войны он, столичный школьник, приехавший на село, научился у старожилов драть лыко, держать в руках кочедык и плести лапти, в которых за неимением другой обуви и проходил до возвращения в Москву. В те же годы из какой-то случайной светонепроницаемой коробки и случайных же оптических линз смастерил фотоаппарат. Я по сей день храню

вполне профессиональные снимки, которые Коля сделал той камерой. Позже стал он писать пейзажи маслом и акварелью, да так, что картины хоть в галерее выставляй. А уж свои резные по дереву изделия, вняв дружескому настоянию первых зрителей, таки отважился выставлять. И даже призами награждался.

О его поэтическом таланте говорить не стану, читатель этой книги сам оценит. Скажу лишь, что смолоду влюбившись в его стихи, я уже не мог воспринимать поэзию бездумную или, напротив, заумную, бесчувственную или продиктованную неискренним чувством; переусложненную по форме или такую, что являла собой образец простоты, которая хуже воровства. Он умел от души восхититься чужой строкой и холодно, без лишних слов, отринуть подделку. Однажды, приехав в Свердловск, Коля принялся читать сборник стихов одного из моих давних сослуживцев. Одолев несколько страниц, с досадой закрыл книжку. – Это не стихи, – сказал он. – А что? – удивился я. – Рифмованная проза. – Сказал, как припечатал.

Но и к себе относился предельно строго: *«Подмастерьем бы стать у Байкала – поучиться его мастерству...»*

И учился. У Байкала, у северных уральских рек, у полярных морей, у ночных дождей... Все, что видел, узнавал в странствиях от Парижа до Курил воспринимал цепким взором и чутким ухом, переплавлял в тигле своей фантазии и выражал в словах богатейшего лексикона, в музыкальных тонах и ритмах гармоничного человеческого общения.

Я всегда недоумевал: почему имя его не на слуху? Почему известные отечественные поэты в рецензиях для издательств (служебных, «закрытых») восторженно отзываются о его творчестве, а критика не привлекает к поэту читательского внимания? Кажется, он тоже чувствовал эту несправедливость, но объяснял ее своей неспособностью умело заняться саморекламой.

Опыт подсказывает, что со временем справедливость все равно восторжествует, и читатель заново откроет большого Поэта – Николая Димчевского.

Александр Розин

Автобиография

Когда научился выводить печатные буквы, сразу же применил это уменье для дела – начал писать – лет за десять заполнил несколько тетрадок стихами.

В 1944 году по счастливой случайности одна из тетрадок попала в руки А. Н. Толстому. Встреча с А. Н. Толстым стала настоящим уроком мастерства.

Первое стихотворение было напечатано в газете «Московский университет» в 1948 году. После окончания учебы уехал работать в Астрахань.

Возвратившись через три года в столицу, учился, преподавал, занимался журналистикой. Потом все бросил и уехал с изыскателями на Ангару и Енисей. Затем кочевка с оленеводами Полярного Урала; тральщик в Баренцевом море; танкер, идущий вниз по Лене; долгий рейс из Владивостока на Чукотку.

Казалось, странствия помогут найти свою тему. Накапливались стихи, которые благожелательно были приняты В. Луговским, позже – Е. Винокуровым. Хорошо отзывались о них Л. Мартынов и Б. Слуцкий.

В 1959 году отнес подборку стихов в «Новый мир» и вскоре позвонили: А. Твардовский поставил ее в номер (11.1959). Удача прибавила решительности – отнес стихи в «Литературную газету». Там тогда работали В. Солоухин и Б. Окуджава, напечатавшие в 1959 году еще одну подборку.

В 1968 году вышла первая книжка прозы «Калитку в синеву» и первая книга стихов «Прорубь». Всего было издано шесть книг стихов: «Прорубь» (1968), «Краски севера» (1972), «Можжевеловый корень» (1983), «Облик странствий» (1976), «Рожденье рек» (1989), «Сон о птице» (1996), «Осенние карусели» (2000).

Николай Димчевский









Книга первая

«ПРОРУБЬ»

1968

* * *

Зелёным филином уселся можжевель.
В глазах роса,
в ушах трещат синицы.
Он лапами так сжал лесную прель,
что та
грибом
до срока разродится.

Он любит
эти скудные места.
По-птичьи,
по-звериному их любит.
И тонкой паутиной
красота
повисла на замшелом клюве.

1964

* * *

Генриху Волкову

Поджарые сосны и тощий вереск,
и тонкие иглы в сухом песке.
И сучья скрипят, словно старые двери.
И лето висит на одном волоске.

Но плывут ещё смолы, на солнце растаяв,
колышется над дюнами слоистая хмарь,
и всё глубже годичные кольца врастают,
и Время в стволах каменеет, как янтарь.

Когда-нибудь
присмотришься к неровному срезу,
разыщешь глубоко запрятанный слой –
и снова сучья скрипнут старым железом,
и лето,
прощаясь, повиснет над головой.

1958

* * *

Весёлых стекляшек апрель нанизал –
берёзы под утро
звенят бубенцами,
и радостным холодом полнит глаза
продрогшей зари индевелое пламя.

А солнце,
как сердце, таится в глуби
дремучих болот, замохначенных
мохом...

Берёзовый день подступает к груди,
и тетерев в роще кричит скоморохом.

1964

* * *

Стал снег зернист,
петух орёт из клети.
За ветками – сырая вышина.
И капля с крыши
прямо в сердце метит.
Весна...

1951

* * *

Городишко
просяно-овсяный
хлебным духом по крышу пропах,
и блестит
белизной берестяной,
и плывет на сырых облаках.

Шепчет,
вытянув сохлые руки
постаревших своих тополей,
и трепещет в глубокой излуке,
словно теплое сердце полей.

Диким гусям его не любить ли,
журавлям ли его не стеречь –
к камышам заболотным приникли
его крыши, где тенькает течь.

Просыпая овес на булыжник,
голубям отсевая пшено,
городок,
не радея о ближних,
отдает им, что полем дано.

В берестяно-овсяной округе,
в нескудеюще скудных песках
он плывет
старым дедовским стругом
на прошитых дождем облаках.

1965

НИТИ ОСЕНИ

1

День свеж и рыж,
и ветер к югу сносит
негреющее пламя лозняка.
Река синя, как дым,
и гулко дышит осень,
подняв в душе мятеж
огня и сквозняка.

Костер лесов.
Прозрачным вихрем взмыта
вся охра, медь и золото земли.
Насквозь гудящим пламенем пропитан,
горю в огне цветов,
что летом отцвели.

И радостно,
и жаль, что время гасит краски,
что бьёт октябрь в усталый бубен крыш.
Иду через кусты,
бреду по глине вязкой,
шагаю без дорог...
А день и свеж, и рыж.

1960

2

Колючий сад,
он зло топорщит сучья
и рассекает даль на сто частей.
Как медный меч, ветловый лист
ждет случай, сорвавшись,
взрезать землю до корней.

В ноябрьскую безжалостную пору
деревья остры,
сад непримирим.
Он зло встречает зло,
и ёжатся просторы,
в жестоком споре дрогнув перед ним.

Не верится:
лил проливень из вёдер
и солнце выжидало, чтоб прильнуть
к изгибам яблонь, точно к коже бёдер,
и к грушам, обнажённым словно грудь.

Всё позади.
Какая скудость цвета,
как режет глаз косых стволов излом!

Колючий сад хлыстом железных веток
на зло природы
отвечает злом.

1961

3

Осень краски украла.
Под плащ её серый
долы
и дали заметены.
Становится осенью
море
мерой
глубины и голубизны.

Облезлой осенью
море – мрамор,
море – марена и малахит.
Юным ихтиозавром
осеннее море рычит.

Море со скудостью тусклой грызётся,
ярясь и когтясь, как июльский пожар.
Глядя на море,
любой болотце,
камыш разодрав, в берег илистый
бьётся
и хочет,
как море,
обнять земной шар.

1962

4

Безвкусен воздух в пойменных лугах.
Белёсо небо.
Щуплы травы.
Одни стога хранят в своих горбах
бродила исцеленья и отравы.

В них лето до весны заключено,
и стоит только
в бок всадить им вилы –
густым потоком потечёт вино,
которое в их недрах набродило.

В вине –
и мёд,
и острота осок,
и крепость луговой клубники,
в нем рябь реки вгрызается в песок
и брызжут медью солнечные блики.

...В стогах уснули травы,
и тебе,
когда серо и небеса корявы,
так радостно
из голубых стеблей
пить запах исцеленья и отравы!

1959

5

Краснокожая
тихая осень
индианкой пугливой идёт по лесам.
Через синь,
через хлябь её след переброшен,
где сомкнулись дожди
к полосе полоса.

На осиновых углях
кипят и шевелятся краски,
по щекам и по лбу
растекаются бликом на блик.
И ступает по пламени с детской
опаской индианка,
таящая в горле испуганный вскрик.

Ноги в глине,
одежда
ветрами помята
и клочок за клочком остаётся
на каждом стволе.

Так идёт индианка,
и тянутся нити заката
по осенней,
осиновой,
северной нашей земле.

1962

6

В лесах всё – цвель и ржа.
Вцепившись ножкой тонкой,
каждый пенёк, дрожа,
сторожат
опёнки.

Леса – это погреб сырой,
полный ягод рябины, грибов и гнили.
Там весенние соки спят под корой,
как в замшелой бутыли.

Хрусткой чащобой,
по волглой траве и бруснике
ломится осень с кошёлкой:
птиц распугала –
и птичьи крики
сыпятся шишками с ёлки.

Что здесь хорошего?
Сырость, серость и сирость...
Вечером дождик,
утром туман стеной.
Поздняя осень,
кому она полюбилась?
Кого покорила?
Какой красотой?

1955

* * *

Не надо ветки обрезать,
не надо!
Пусть дерево растёт, как хочет,
пусть!
Пусть летом листья сонно льют прохладу,
а осенью листва лелеет грусть.

Нет августа
без буйства бурых сучьев,
без лохм, летящих криво на ветру,
а в ноябре
деревья
по-паучьи
дожди сплетают в сети поутру.

Приглаженность испортит сад.
Не надо
ножом шальные ветви поправлять!
Свой замысел давно созрел у сада.
Не нужно саду в замыслах мешать.

1965

* * *

Река ещё жива –
течёт по жилам кровь,
хоть снег,
как кружева,
свисает с облаков,
хоть лёд
косой стрелой
ей в горло целит,
хоть
позёмкой ножевой
её терзает плоть.

Река живёт,
и пар
таит у влажных губ
и варит чёрный вар,
и косит льдом кугу,
и крутит жернова,
проснувшись поутру...

Нет,
рано кружева
нести к её одру!

1966

* * *

Из дыма волосы,
глаза из бликов,
и губы – как разлом медовых сот.
И проступают капли земляники
там, где ступня среди стеблей встаёт.

Идёшь между звенящих зноем сосен,
по лугу, по куриной слепоте.
Как жаркий мех,
на плечи полдень брошен,
а плечи –
зависть белой бересте.

Не уловить тебя в мои тенёта,
силками силы тоже не поймать.
Лишь осенью,
когда ломают соты,
мне с горечью
о мёде вспоминать.

1965

ДОЖДИ

1

Окно открою –
лучше слышно ливень,
и чётче поступь капель,
и слышней,
как пузыри звенят,
лепечут ивы
и горький запах льётся с тополей.

Рассветный дождь.
Сквозь пасмурную сырость
в окно трубит зелёная труба
о том, что солнце в каплях растворилось,
что стала чёрной наша городьба.
О пустяках великих –
песнь природы,
о брызгах, заслонивших небосклон,
о лепестках раскрывшихся,
о мёде,
о сердце,
ждущим солнечных времён.

1962

2

Кто там ходит всю ночь на ходулях
и палкой стучит по тугим лопухам?
Куда ни пойдёшь –
в огороде, в саду ли, –
везде долговязые долбят ходули
и шепчется кто-то по тёмным кустам.

«Летучую мышь» засвечу
и, пригнувшись, чтоб капли с листвы
не спугнуть, подойду...
И дождик, ходули ломая о груши,
с испугом замечется в мокром саду.

1961

3

Кусты и деревья – горшки и кувшины,
налитые бледно-зелёной водой.
Как хрупки сосуды весенней крушины,
как трепетна чаша ветлы молодой.

Я их подставляю под ливень весенний –
и слушает
глухо гудящая глушь,
как варится пряное зелье растений
в горячем пару закипающих луж.

1962

4

На ломаных молниях
об руку с тёмным ненастьем
дождь недобрый идёт.
Он посевы сечёт, рвёт листья,
ломает ветки
и швыряет крыши вразмёт.

Ливень злобно кромсает землю:
вспорото поле, как рана овраг,
бурой пеной вздувает ручьи,
и намокшие птицы,
запутавшись, бьются у дождя в волосах.

Дождь жесток,
он всё круче и всё острее.
Капли с градом как дробь из ружья.
Люди в окна не смотрят.
Обтянуты скулы,
молча жёны сидят, молча сникли мужья.

Длинный кнут водяной хлещет землю с размаху,
лепит в стены,
со свистом врывается в дом.
Зажми уши ладонями,
стисни до хруста череп –
всё равно будет слышно, как поле
кричит под кнутом!

1965

5

Ещё всё было впереди,
всё было в будущем,
всё ждалось –
вот летний ливень загудит,
и молния протянет жало.

И не сумеешь не вбежать
под сумрак старого навеса,
где капли мутные дрожат
в сырой пыли грибного леса,
где руки – пряные от трав,
где губы – пьяные от ливня,
то жгут сильнее всех отрав,
то дарят праздничные гривны...

Всё это было впереди,
всё ждалось,
всё прийти желало,
всё зрело, как гроза в груди,
и молнии
точили жало.

1965

* * *

Принесите в дом корзину яблок,
ивовую чашу запахов медовых,
кружево ветловое, где блеск росы, так ярок,
заплетён под прутья и задорно, и бедово.

Это солнце брошено на праздничное
блюдо,
это сахар крупчато живёт под кожурой.
Принесите
росное рассыпчатое чудо –
спрятавшийся в яблоках
ленивый летний зной.

1964

* * *

Утром,
когда чист рассвет и лист весенний
липок,
воробьи пиликают на сотне детских
скрипок,
веселье бесшабашное в песенке
простецкой, –
для скрипки переложены
частушки
и «елецкий».

И сто смычков неловких
выводят неумело
о мимолетной радости – пожить
на свете белом.

И сотня тонких перьев
скрипит по листьям клейким
грошовую мелодию –
листочек по копейке.

Весёлость желтоклювая
без повода и смысла
во всех дворах разбросана,
на всех сучках повисла!

1961

* * *

У каждого музея краеведенья
свой волк,
свой филин,
свой седой медведь.
Из ниш
на посетителей наведена
узорчатая пушечная медь.

Кость бронтозавра,
а над ней – баталия
и диаграмма:
так возрос удой.
И вдруг
княгиня
с невозможной талией
осой висит под картой областной.

История...
Из всех её извилин,
что было – никуда не уберёшь.
И тихо смотрит
осовевший филин
на засухоустойчивую рожь.

1964

ОРГАННАЯ МУЗЫКА

Вот серебряный город.
Там медные птицы гнездятся,
там стальные сверчки
и стеклянные пчёлы живут.
В нём дома без хозяев и домочадцев,
и холодные башни не знают
про тёплый уют.

И приходит старик.
Он приносит задумчивый праздник,
начинается пир,
медный мёд в гулких трубах кипит.
И в серебряных сотах
душа охмелевшая вязнет,
и стальной колокольчик у самого
сердца звенит.

А старик поднимает тяжёлую соль
океана,
вызывает все гулы пещер
и все ветры полей...

Так рождается музыка в недрах
органа.
Так великая мудрость нисходит
на души людей.

1961

* * *

На лицах, точно в книге для приезжих,
всё оставляет подпись или след.
Совсем недолго, пока детство брезжит,
чиста страница и помарок нет.

Но вот раздумье, первое по счету,
лоб прорезает ниточкой прямой,
потом приходят властные заботы –
у каждой
норов свой и почерк свой.

А дальше годы ставят отпечатки,
ложится желтизна и впалость щёк,
и страсть свой росчерк оставляет хваткий,
исписывая за листком листок.

И кажется –
нет места на страницах,
исчерченных заржавленным пером...
Но книга всё равно для подписей годится,
и новые жильцы
въезжают в старый дом.

1954

СЕВЕРЬЯН

От жухлых трав и болот, поросших мохом,
из глинистой, еловой страны крестьян,
с Севера, где жить было скудно и плохо,
пришло это имя – Северьян.

Оно – как замутившийся от времени камень,
многое чудится в его глуби:
вот избы зажмурили веки ставен,
и снежный буран в их трубы трубит.

В нём весна продрогшая, радостью скупая,
тонкие ветки тянет из тумана.
Птицы неуклюжие поздно прилетают,
и цветы неяркие отцветают рано.

Там и лето серенькое с тощей рожью,
латаные крылья мельниц на буграх.
В нём и осень дождиком по бездорожью
замывает редкие следы бродяг.

...В старинном имени таится бескрайность
лиц и людей, уходящих в глубь веков.
Северное имя всплывшее случайно...
А сколько у нас таких имён и слов.

1952

СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ ДЕРЕВЬЕВ

Старый лекарь деревьев.
По влажным бульварам,
когда чёрные сучья вонзаются в синее небо,
он идёт и лекарства несёт за спиной.
Там паяльная лампа, долота и вар.
Лекарь знает, кто здесь болен
и чем, и сумеет ли выжить больной.

Распугав воробьёв,
он труху из дупла выбивает,
выскребает всю гниль,
что скопилась на сердце у лип:
крошки мелких желаний,
пронырливых злых древоточцев
пыльный мох, что на душу налип.

И паяльная лампа с безжалостным рёвом
жжёт дотла тлен и тлю,
дряблость старой коры...
И дрожащее дерево терпит,
зелёные почки, как глаза,
от врачующей боли раскрыв.

Этот лекарь!
В корявой ладони нож не дрогнет,
и пламя – острее, чем нож.
Он готовит деревья к весне.
Посмотрите, как сгорают труха,
древоточцы и ложь!

1960

СТАРУХА

По берегу,
чёрная в белом тумане,
старуха с тревогой, старуха со страхом,
старуха с собакой идёт по песку.
Тревога и страх, и собака
в предутренней рани
прижались к ноге и скулят
и тоской своей неизречённой
готовы накликать другую, щемящую сердце
тоску.

Байкал пригвождён к косякам побережий –
ни всплеска, – все звуки задавлены
в сдавленном горле ветров.
И шаг осторожный острой гранью песчинок
тишину остеклевшую режет,
и осколки впиваются в спину крутых берегов.

Кто-то там заблудился...
В тумане весло увязил он?
Или в сыри глухой захлебнулся мотор?
Чьи сердца без надежды и руки без силы
увидала старуха сквозь тусклый простор?

Это муж? Это сын? Это внук?
Или просто соседи?
Или просто о ком-то тревога её?
Может, это тревога о всех, кто плывёт
и кто едет, кто идёт, кто летит
и плетется средь дальних краёв?..

И старуха бредёт к перевернутой лодке,
ударяет по днищу корявой клюкой.

И сухие удары, призывны и чётки,
в неизвестность плывут
над землей и водой.

«Эй, в тумане,
в слепом Баргузинском заливе!»,
«Эй, в тумане,
на всяком распутье земном!» –
Голос лодки зовет. Он то глух, то заливист,
будто старое сердце
надрывается в нём.

И усталые скулы тяжёлых баркасов
завиднеются скоро сквозь мокрую муть,
и забьются моторы,
и с этого часа
в паруса будут ветры попутные дуть.

А старуха уйдёт по песку,
и собака
неуклюжими лапами стопчет следы...

И недавняя горечь тревоги и страха
растворится
в растворе песка и воды.

1966

ДРАКОНОВО ЯЙЦО

В жару
в бору –
там варево кипит
из шишек, земляники и смолы.
И корни, скорчившись между гранитных
плит,
от жара вяжутся в корявые узлы.

А в самом пекле,
в огненном песке –
валун,
досиня солнцем накалён.
Вот лопнет... и в беспомощном броске
забьётся огнедышащий дракон!

Возьму птенца и посажу в мешок
и каменных скорлупок наберу.
Я докажу в ответ на ваш смешок,
что чудеса ещё живут в бору.

1956

* * *

Алексею Потёмкину

Кто шаманит в шаманьих просторах?
Ветры в каменный бубен стучат.
И гудящие, гулкие, голые горы
неохотно и грозно вбирают вечерний набат.

Запалила заря облака,
на вершины закинула пламя,
по ущельям ударила резким хлыстом.
Бродят красные волны
грохочущими стадами
вдоль по чёрной реке,
рядом с хмурым крутым Верхоянским хребтом.

вейтесь, дикие силы,
свивайтесь в клубок, завивайте
в своё жерло весь камень и мох
и тугие тяжи облаков!
Пусть сгорают закатными искрами чайки,
пусть от гор, как от угля,
вздуваются космы костров!

Нет конца, нет границ, нет предела...
Индевелыми перьями светятся крылья
пустынь.

Из каких неохватных миров прилетела
эта даль, эта ширь, эта стынь,
эта синь?

1964

* * *

Кровь августа – шиповник и брусника.
Синиц трещотка вечерами алыми.
Ступает осень трепетно и дико,
бредёт чащобой и таёжными завалами.

Какая чёткость красок и границ!
На чёрном камне
белый мох
и колокольчик синий.
Скалой разрезан мир
от силуэтов птиц
до водорослей, спрятанных в пучине.

На гарях,
возле обожжённых пней,
толпится молодняк осинника
продрогшего,
и снялись журавли с болотных якорей –
бить грудью облака на ледяное крошево.

Из растворённых окон наверху
им видно,
как в ногах у старых сосен
по твёрдой чешуе брусничника,
по мху
течёт кровь августа,
в тайгу крадётся осень.

1961

ГДЕ-ТО

Я этот посёлок с трудом узнаю...
Он где-то на Севере... Где-то,
где краски просеяны сквозь кисею
полночного сонного света.

И рыжие брёвна плывут по реке,
и чёрные баржи на ртути,
и серые избы на сером песке
в сереющей тундровой мути.

Там красный платок над обрывом...
Глаза...
Ладонь над их вырезом узким.
В них кто-то, кто должен вернуться
назад,
тускнеет за маревом тусклым.

...А лодка промазана медной смолой.
И капля костра.
И белила
берёзовых дров...

Эта лодка
за мной
когда-то
сквозь ночь приходила...

1965

* * *

Водорослей принесу и листьев,
окна занавешу старой сетью.
Ломкий гул волны,
как дальний выстрел,
будет в дом входить
лишь раз в столетье.

Раз в сто лет –
чтоб не забыть про время...
А между ударами волны
пусть в печи сосновые коренья
нам поют из гулкой тишины.

Их тепло не может быть теплее
наших рук,
и наших губ,
и глаз.
Мы хотим, чтоб огненные змеи
дымным взглядом
холодили нас.

Чтобы ёлок смоляные плети
шишками стучали в нашу дверь,
и волна,
как выстрел,
раз в столетье
отделяла «было» от «теперь».

1965

* * *

Дырявый накомарник.
Борода.
Винтовка.
Ичиги.
Зимовье.
Сырые камни.
Звонкая вода.
Заря по зыби – кровь по крови.

Звон комаров.
Глубокой дали зов.
Путь от жилья.
Дорога в необжитость.
Гольцы.
Кедровый стланик.
Темь лесов.

Что темнотой в таёжных падях скрыто?

1964

* * *

Откуда здесь крабы?
Откуда здесь спруты?
Собрались все чудища моря
в тайге:
раздвинуты пасти,
утробы раздуты.
Оступишься –
зубы сомкнут на ноге.

Всё это –
дремучее воспоминанье,
вздох древней земли,
сон глубоких пластов.
Но даже
всё знающее сознанье
робеет
при поступи этих снов.

И только под утро,
расправив хребтины,
защелкнув клешни
и сомкнув плавники,
становятся чудища
древесиной,
корнями,
где шастают бурундуки.

1961

РОЖДЕНЬЕ РЕК

Рожденье рек Полярного Урала
под грохот каменных колоколов,
под звон прозрачных чаш,
под гневный гром хорала,
клокочущего в горле у ветров!

Ломайте скалы, рвите тундру в клочья,
справляйте пир новорождённых сил!
Здесь ни один шаман
судьбы вам не пророчил,
вас ни один колдун родиться не просил!

Входите в мир без зова и без спроса,
бросайтесь серебром бесценных рыб!
Пускай озера следом лягут косо,
берёзы криво обовьют бугры.

Кидайтесь вкривь и вкось –
ищите путь – не всюду
нужна простая прямизна.
Меж тундр случаются и чудеса без чуда,
и ночь без вечеров, и дни без утр.

Вберите чистоту снегов и льдов
и жижу ржавовины болотной из трясин.
Вам всё дано познать:
чем к океану ближе, тем ниже недра,
выше свет вершин!

1965

* * *

Погасли горы. Нам пора.
Проверь-ка упряжь!
– Кщ-щ-щ! – Вались на нарты!
Олени взмыли к пепельным горам
и напрямик – без компаса и карты!

По-зверьи, нюхом,
лишь свистит в рогах.
По-птичьи лётом – подняло и взвило!
Всё вперемес: мы друга от врага –
от трав трясину отличить не в силах.

О, безрассудство гонки без дорог!
Проныр по рекам,
вымах сквозь болота,
на камни вхряст
и хлюпом через мох –
и в створ зари,
как в алые ворота!

И встреча с солнцем.
Тундра – как луна
в холодном свете росного убора,
и клочьями сырого волокна
дымятся, точно кратеры, озёра.
И резкий взмах Уральского хребта
бросает нас до кромки океана,
куда не доберётся темнота –
в пресветлые полунощные страны.

1965

* * *

Ни росчерка,
ни лишней линии –
так строг и точен Енисей.
Наметил горизонт
и облако
и бросил в небеса гусей.

Не надо берегов!
Лишь зубчато,
легонько острою пилой
тайгу подправил где-то с краешку,
медвежьей шубой кинул зной,
и ветер погасил,
и выпустил
такую светлую лазурь,
что глаз её не может вынести
и видит только сквозь слезу.

Там гуси растворились начисто,
как будто не было гусей
и ничего на свете не было...

Был
лишь полярный Енисей.

1963

* * *

Много красок не надо.
Для заката достаточно трёх.
Бросьте медную в небо,
сталь калёную в горы,
известь жжёную в реку
и смотрите,
забыв про коварства дорог.

Пусть недолго –
пока, отдыхая,
олени
крепкий гриб подберёзовый жадно жуют.

Чтоб закатные краски вобрать,
нужно целую жизнь
или несколько беглых мгновений,
всё равно ни того ни другого не хватит –
ни жизни, ни дней, ни минут.

Эти краски
Урал
сотни лет сохранял в своих складках,
он настаивал их
на буранах и льдах, на жаре,
на воде снеговой,
на камнях, заскорузлых и гладких,
и на судьбах,
сгоревших в полярном костре.

Сколько глаз уходящих
в последнем разжатье
принимали высокий покой этих мест,
и закатные краски,

как волны в накате,
омывали
тревожный неструганный
крест.

Были праздники –
красные шали по меди
несгорающих медленных зорь.
В пляс узоры на малицах шли и, помедлив,
заплетались в закатный весёлый узор.

– Много красок не надо.
И трёх слишком много для жизни.
Хоть одной,
налитой и ядрёной,
сверкнуть!

...А олени верхушки берёзок обгрызли
и грибы дожевали,
и снова зовут тебя в путь.

1965

ЖИЛЬЁ ЧЕЛОВЕКА

Жильё человека – это тридцать шестов,
это шкуры оленьи, прошитые жилой,
и костёр,
и котёл...
и, как толща веков,
тьма и тишь дальний чум окружила.

О, уют для забвенья дорожных невзгод!
Угли. Нить тальникового дыма,
и на нити – узлами –
час и день,
день и год
до зари ледяной протянулись незримо.

Время стало.
Очнуться,
кремнёвый топор
беспокойной рукой в полудреме нащупать.
Что там? Бубен шамана иль эхо от гор?
Иль взыграла под осень пудовая щука?

Костяные крючки сухожильем связать
и на тундровом озере кинуть приманку?
Головешкой горящей
по волчьим глазам
садануть,
суеверно вскочив спозаранку?

Иль следить сквозь дыру, где сомкнулись
шесты,
ход светил,
сотворённых рукой человечьей,
иль приемник включить

и послушать с шести
танцевальные ритмы,
реченья
и речи?

Время стало.
Смешало
тальникового дыма узлы.
Где кремнёвый топор,
где транзисторный кремний?

Здесь жильё человека.

А дороги так злы,
в их когтистые лапы опять на заре мне...

1965

* * *

Подмастерьем бы стать у Байкала –
поучиться его мастерству:
синих красок набрать,
фиолетовых слюд
и туманных опалов
и пронзительным солнцем
пришпилить к холсту!

Натореть
в стеклодувной тяжёлой и точной работе,
чтоб на дне
отлитых из зелёной прозрачности чаш
колыхались
лучей переливчатых
жёлтые соты,
отражался игольчатый контур
пронизанных осенью чащ.

Стать чеканщиком,
хватким, скупым златоковцем,
ремешком повязать под кружок седину,
молоточком алмазным
разбить уходящее солнце,
и осколки
прибить по чешуйке
на каждую каплю в тугую волну.

Кожемякой – таежные шкуры,
лесные овчины
разминать,
растирать,
раздирать,
распинать,

чтобы скалы ревели по-бычьи,
чтоб в горле стремнины
застревал шквальный ветер,
вонзившийся по рукоять!

1965

* * *

Таинственно и тихо птицы
влетают в небо –
там их дом.
Клюв тянут, чтоб зари напиться,
и месят облако крылом.

А человек темно и тяжко,
тягучей силой отягчён,
размазав пот, защёлкнув пряжки,
ведёт машину на бетон.

И в микрофон ворчит, включая
всю мощь машинному зверью,
чтоб в небе, крыльями качая,
как птица
просто пить зарю.

1965

* * *

Памяти Константина Кондрацкого

Жестяные цветы на воротах сада!
Никогда не увянут ваши ржавые стебли.
В ваших венчиках нет
ни нектара,
ни яда;
ни пчела, ни оса
в ваших чашечках не были.

Но у вас есть своя неуклюжая прелесть,
есть наивность в нелепых изгибах металла –
это значит:
жестянщику
очень хотелось,
чтобы мёртвая жесть колокольчиком стала.

Узловатые пальцы
в порезах и ржави
орошались не раз
крупной каплею пота.
И на память он летнему саду оставил
жестяные цветы на скрипучих воротах.

Я завидую:
старый жестянщик был мастер.
Это радость –
оставить на жести иль слове
трепет пальцев своих,
или мысли о счастье,
или алую капельку крови.

1950

* * *

Я люблю переулок.
До щербатых карнизов,
до голубятен костлявых
он тишиной тополиной налит.
А в небе,
могуч, как бунтарский вызов,
краснопёрый закат
спины крыш
и деревья
когтит.

Это спор безмятежности и урагана космических
красок,
битва уюта и бесприютных просторов.
Над переулком
в дремоте вечернего часа –
вихри Вселенной
и мрачного Космоса норов.

И, заглядевшись на бешенство поднебесья,
взявшись рукою за тощую жердь голубятни,
мечтатели
в бездну Вселенной ноги босые свесят
и будут впивать и слушать говор светил
невнятный.

1963

* * *

Я боюсь поездов.
Этот крик тормозного железа
проникает сквозь сердце
и горечью губы кривит.

Жизнь разрезана,
город твой – напрочь отрезан,
ты отрезана –
рельсы уходят в зенит.

Но когда лапы лиственниц
осень проржавит
и осинник осыплет фольга и слюда,
когда дождь,
припадая к окну,
в сотнях капель тебя отражает,
я люблю,
я люблю,
я люблю поезда!

1966

* * *

Юле

В театре
освещенье много значит:
включают голубой фонарь –
и месяц над леском маячит,
и в зал течёт ночная хмарь.

Потом фонарь включают красный –
лесной пожар и пламя до небес.
И зритель ежится –
опасно:
зал вспыхнет и сгорит, как лес.

Уходит зритель –
и механик ловкий
свет солнца выпустил на сцену из окон.
И вмиг
луна повисла на бечёвке,
и превратился лес в бумагу и картон.

1956









Книга вторая

«КРАСКИ СЕВЕРА»

1972

* * *

Лавчонка «Семёна»,
как ящик с семенами –
чуть веет пряный запах всех семян.
В иные времена
я временами
за семечком мог разглядеть роман.

Брал зёрнышки,
как будущие судьбы,
держал в ладонях
всё
и ничего.
И как судьба свой ни вершила суд бы,
я верил справедливости его.

Вот я опять в лавчонке с семенами...
Темно и пыльно.
Притолоки низки.
И продавец молчит,
как будто между нами
легли века,
сменились языки.

Повсюду семена –
от пола и до крыши.
Смотрю, приникнув к ним и не дыша,
и всё ж не вижу ничего, не слышу...
То ль семена молчат,
то ли глуха душа?..

1963

* * *

Ещё вокруг деревья голы.
И только у кривой ветлы
с голодным гудом вьются пчёлы,
от пуха жёлтого желты.

Они от долгой спячки вялы,
от зимних сумерек тощи.
Их тёплый ветер на бок валит
и хочет в небо утащить.

Их проняло мохнатым солнцем
и пряным паром проняло,
и с дребезжаньем и с трезвонцем
они покинули село.

Их крылья слюдяные слабы,
но хоботки уже остры
и целят к ветлам, что за садом
дымят, как жёлтые костры.

1968

* * *

Через июльские покровы,
сквозь пар стихающей земли,
раскормленные, как коровы,
по саду яблони брели.

Они медлительно вздыхали,
дневные яства съев сполна,
и яблоки траву цепляли,
крутые, словно вымена.

Под брюхо тёплое улягусь,
где бок ствола шершав и груб,
чтоб видеть,
как в соседний август
стекает мёд с зелёных губ.

1968

ВЕСНА

Ивану Тройнову

На деревянных дудочках,
на жалобных жалейках,
на свистульках,
едва заря затлеет грудкой снегириной,
начнёт дудеть,
начнёт свистеть и булькать
вся птичья мелочь
в просини осинной.

Тут беззаботность зябликов,
и суетность синичья,
и пеночкино теньканье тугое...
Из пустяков растёт весны обличье,
до облаков касаясь головою.

Великое гнездовище природы
свивается от зорь до гулкой ночи –
реками, разбурунившими воды,
руками, разрыхляющими почвы.

Но даже там, среди светил парящих,
между созвездий чёкани старинной,
слышна свистулька зябликов озябших,

1967

* * *

Кто видел, как выходят из-под снега
прошлогодние, забытые следы:
колеи от колёс телеги,
след сапог, полный вешней воды?

Сколько сил положили метели,
как отглаживали, как лизали наст,
но стереть следы не сумели,
напластовывая пласт на пласт!

Вся работа их весной насмарку –
снег становится тоньше слюды...

И шагают по припёкам жарким
прошлогодние,
забытые
следы.

1958

* * *

Радость первого снега!
Цветенье уснувших деревьев,
искры ягод рябины в ледяных зеркалах.

Ухожу по звенящей дороге,
по иглам, пронзающим лужи,
ступаю на снежную пряжу, не знавшую прях.

Скоро будет костёр,
густо вспыхнет берёста
и сырое сучьё засвистит, словно дрозд.

Приготовлю их хвои перину,
свалюсь в смоляную чащобу,
в кутерьму мельтешащих снежинок,
рябины и звезд.

1960

* * *

Аптекарский настой осеннего болота.
Лекарственные запахи полей.
Лишь горечь листьев
скрыта позолотой,
чтоб легче пить –
глотай и не болей.

Неси свой груз давнишней долгой боли
в прозрачную лечебницу дубрав.
Листвою ли,
дресвою ли,
травой ли
начни леченье,
от лекарств устав.

Душа сама
нащупает на полках
и в ящиках сквозных лесных аптек
снадобья и пилюли, и иголки –
всё, в чём спасенья ищет человек.

Здесь –
хирургия щеп и сучьев острых,
там –
терапия трав и облаков.
Бреди
и где-то на замшелых вёрстах
почувствуешь,
что ты совсем здоров.

1967

* * *

На тонких ветках капель на́низь
дрожит и робко и смятенно.
И капля каждая,
как завязь,
как почка будущей вселенной.

В ней небо с облаками тонет,
в ней травы, города и люди...
Всё спит, как лепестки в бутоне,
и ждёт, когда весна разбудит.

1959

* * *

Река в холодной чешуе,
в наплывах туч
и в измороси тощей.
Буксир последний прошумел
и смолк в туманной толще.

Как тяжко он дышал,
как воду бил,
поранив о песок сырые плицы.
Он лето, словно баржу, утащил.
Река уснула,
и замолкли птицы.

1955

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Вечером, вкрадчив и тих,
дождь прошёлся по саду.
Худыми руками обшарил все листья,
расправил цветы и рассаду,
и крапиву росинками выстелил.

Дрожащие, робкие
капли
слились в поволоку.
Свет от окна заблестел на стволах
и на ветках.
Дождь осмелел
и пошёл, как мальчишка,
с прискоком –
сад загонять
в водяную прозрачную клетку.

Разбуженный ветер
поднялся,
зевнул
и несмело
ударил по струям дождя.
Вода изогнулась танцовщицей гибкой
и тихо запела,
между пальцев его пройдя.

Яблони, продрогшие от сырости,
отряхивались, как собаки,
и каждой травинке хотелось вырасти
и так же с шумом на ветер
наскакивать.

Лишь в полночь
всё угомонилось
и улеглось,
завернувшись в туман.
Кто знает,
скажите на милость,
откуда взялись этот дождь,
этот ветер
и мокрые листья?
Как зародились они,
из каких семян?

1954

* * *

От угля синих звёзд
не вспыхнули б вершины:
суха кора берёз,
и душен дух полынный.

Тут серой и смолой
сосняк насквозь пропитан,
и полуночный зной
прилип к поникшим пихтам.

В такую сушь и тишь,
и тёмную жарищу
от совьих глаз сгоришь
и пепла не разыщут.

С опаскою бреду
сквозь ночь пороховую
и звёздную беду
над головою чую.

1967

* * *

Звериные шкуры висят на дубах,
дубильною жижей подлесок пропах.
У осени фартук,
заляпанный кровью,
и ноги обёрнуты в кожу воловью.
От сока ольхи
её пальцы красны
и щёки
грубей, чем кора у сосны.
В руках её ветер
булатный, калёный –
чуть тронет,
пропорет
осины и клёны.
В оврагах лещинных,
по чащам, по рощам
осенние шкуры
дерёт и полощет –
в болоте медвежью,
на озере лисью,
нет беличьим счёта –
они словно листья.
Проквасит,
провялит,
растянет жердями
и к небу прибьёт
ледяными гвоздями.

1969

* * *

В полях слюда и соль,
а на реке
стекло.
Железный жжёный лист
на каменных деревьях.
Как будто жизнь ушла,
и унесла тепло,
и увела людей в далёкое кочевье.

И только под слюдой,
где озимь замерла,
да в почках,
вмёрзших в каменные сучья,
чуть тлеют
светляки весеннего тепла,
и прячутся тревожные созвучья.

1959

* * *

Мне дайте пеночку,
чтоб тенькала,
чтоб утром
в ушах стоял весенний звон,
чтоб лес,
предчувствуя броженье соков смутно,
все ветки побросал на дно небес.

Пусть на палатку пухом сядет иней,
и стрелы льда насквозь пробьют
ручей.
Есть доброе тепло
в самой светлыни,
в рассветной россыпи
пернатых и лучей.

Снег жмётся, обходя бугры
сторонкой,
и неприязнь к нему я не таю –
мне дайте пеночку,
чтоб тенькала,
чтоб тонко
тревожная весна
стучалась в грудь мою.

1967

* * *

Развозит дороги,
разводит на заводях льды,
раздвигает снега,
разжигает цветы на проталинах,
пряным ветром
сбивает
гусей перелётных с воды,
обдирает с дубов
прошлогоднюю ржавь и окалину.

Так летит через синь,
так ползёт по протокам земли
и сквозит сквозь глаза
сквозняковая резкая свежесть...
Только дай ей намёк,
только место в душе посули –
без дорог,
без разбору
примчится к тебе,
выбьет окна
и сердце осколком порежет.

1964

* * *

Что за лакомство – боярышник!
праздник на пороге зим.
Подойди
и в гроздья алые
взгляд и губы погрузи!

Если сумерки – он светится,
если солнышко – горит.
Потаённая улыбка
сникших елей и ракит.

Ну,
раздвинь сырые заросли,
отрешись от всех невзгод –
вон как весело
боярышник
на пиры свои зовёт!

1971

* * *

Я прилечу в серебряном апреле,
когда проклёвыш первого листа
леса зелёным выстрелом прострелит,
и ясен день, и истина проста.

Весной всегда –
как будто всё сначала
и за спиной не горбятся года,
и дудка птичья
только прозвучала,
чтоб не умолкнуть больше никогда.

И травы
первый раз пахнули соком,
в дожде впервые тополь растворён,
и на берёзах,
в мареве высоком –
грачиный голос
радостных времён.

И налегке,
в апрельский дым одетый,
иду, вдыхая пряный пар и прель, –
купить себе зелёные билеты
на самолёт,
летящий
сквозь
апрель.

1971

* * *

Птицы влетают в костёр через пламя,
скачут по сучьям, бездымно горящим.
Крыльев не сжегши и ног не поранив,
кружат в осеннем пылании чащи.

Птицам дано во вселенском кострище
вспышки рябины расклёвывать с лёта
или разыскивать в огненной пище
угли калёных калин у болота.

Знаете? Лес разгорелся не просто.
Хочет он, чтобы в согласье с поверьем
ярко пылали хвосты горихвосток
и пламенели бы дятловы перья.

Птицы сумеют сквозь перевить ветра,
в день, когда рощи поблекнут по-вдовьи,
вдаль увести по предзимнему свету
огненный отблеск осенних гнездовий.

1968

АПРЕЛЬ

Хрустит листва
в ладонях ломких почек,
скрипят ростки,
просаживая дёрн.
И каждый стебель
в май
пробиться хочет
и этим от апреля отрешён.

А надо ли?
Не замечать сегодня,
спешить сквозь дни,
не различая дней?
Ведь каждый миг –
исходный
и несходный
в неповторимой радости своей.

Невозвратимость
каждого мгновенья!
Всё только раз.
Путь Времени жесток.
И никогда
весенние коренья
не гонят сквозь апрель
свой прошлогодний сок.

1967

* * *

Завешены дали дымком диковатым.
Сырые следы до костра добежали.
Облиты росою и дымом объяты,
согрелись ладони, а плечи дрожали.

И пламя гудело нам в самое ухо,
и волны катали гремящие камни.
И рядом была только наша присуха,
пропахшая кедрами и родниками.

Гремел котелок, и шипели уголья,
и сладкие клубни саранок желтели...
Всё помнится, видится с радостной болью
сквозь пламя, сквозь лохмы насупленных елей.

Кедровые шишки, печённые в углях.
Раскидистый запах смолы и ореха
в твоих волосах,
на щеках твоих смуглых
и в праздничной тайне вечернего смеха.

1968

* * *

В реке вымой голову,
чтоб волосы пахли простором,
протяни их по ветру
сырыми волокнами вдоль берегов,
заплети лозняки в них,
забудь в них свой гребень,
грубо вырезанный из угрюмого камня скал.
Уходи,
уноси моё сердце.
Оно затерялось под гребнем,
как рдяный рубин.
Уплывай
в узкогрудой неверной лодке
на Север.
Убегай
по косым берегам
за Полярный круг...

Будешь волосы гребнем расчёсывать
и не заметишь,
как в тундру
иль море
канет сердце моё,
и далёкие птицы
прокричат ему вслед,
а ты не заметишь потери.

1964

* * *

Всё знаю: там руки и губы в малине,
берёзовый лист холодит лоб и плечи,
роса в волосах и траве, точно иней,
у глаз светляки, словно синие свечи.

Я знаю: там душно в тумане поляны –
костры на щеках
и под сердцем уголья,
и в каждом касанье, как в пламени пряном,
тревожная радость соседствует с болью.

Всё видел, всё знаю,
но снова ещё бы
пошёл, когда полночь уже на излёте,
послушать, как льёт тишина из чащобы
неслышную музыку
леса
и плоти.

1967

* * *

Тайга пахнёт пчелиным ядом
и мёдом падевым пахнёт,
и смутно стану
где-то рядом
искать янтарь тяжёлых сот...

И смутно колыхнётся радость,
что запахом твоих волос
до дна долина пропиталась
и воздух праздничный пророс.

И там по осыпи горячей
к камням заросшего ручья
ты вышла из тревожной чащи
и растворяешься в лучах,
и льёшься воском разогретым,
и дымом убегаешь ввысь...

Зачем под пасмурным рассветом
пути и пальцы расплелись?

И вот теперь
бреду без брода
через ручьи в разломах гор.
Дурман багульника и мёда
цветочной пылью застит взор.

1967

* * *

Смыкаются невидимые двери,
и кажется – их створки не разнять.
При расставанье никогда не верю,
что позже мы увидимся опять.

Но где-то там, нежданно и случайно,
законы расстояний преступив,
ты возникаешь трепетно
и тайно,
звучишь опять, как прерванный мотив.

Пытаюсь разгадать тебя,
пытаюсь
запомнить, чтоб всегда носить с собой.

Но снова створки строгие, сдвигаясь,
смыкаются бесшумно за спиной.

1968

* * *

Беззвездие
и ночь,
и дальний шум прибоя,
и мшарая тайга в непрогляди густой.
Иду на слух,
и ты идёшь за мною,
и вместе нас ведёт
невидимый прибой.
И мы во тьме невидимы друг другу.
Кто ж нас позвал?
Кто нам в ночи пропел?
Кто вплёл в наш путь к увалам и яругам
неслышные шаги на моховой тропе?

Не знаю.
Только с нами кто-то третий.
Незримо он затеплился в тебе.
Судьба ли мне его с тобою встретить,
и нам втроём пробиться по судьбе?

Мы лишь вначале.
Берега Байкала
прозрачны, как сиреневая вязь.
Так долго небо светом набухало,
так сразу падь от солнца занялась.
Теперь пригоршней в заводи укромной
черпни настой рассветного огня!

...Чего ж не пьёшь?
И дышишь так неровно,
и так прощально смотришь на меня.

1969

* * *

Скрипучие блоки пропели: «Прощай...»
И флаги прощальными парусами,
и волны медуз поднимают у свай,
и руки с платком поднимаются сами.

Есть горе,
оно океанской воды солоней,
есть радость
она ягод тундровых ярче и слаще.
И всё это разом у стольких людей
прощанье,
как якорь, из памяти тащит.

А якорь болтается в клюзе,
его
отмыли солёной водою от ила.
Не ждать кораблей нам –
ждать буйных снегов
у сопок, что ветром сырым прознобило.

Уходит последний. Последний, прощай!
И долго трепещет у мокрого пирса
платок чей-то мокрый –
отбился от стай,
а к новым гнездовьям ещё не прибился.

1967

ВЕШНЯЯ ТАЛОСТЬ

Старинным ключом отперла этот город,
вошла и впустила весеннюю сырость.
Вздохнула – и лёд на реке перемолот,
и пар, как подснежник, над площадью вырос.

Всю копоть и накипь сгоревших столетий
скользящей улыбкою с города смыла,
омыла капелью меня на рассвете
и пылкость мою сберегла от распыла.

Сберёгся у губ запах талости вешней,
у волглых волос привкус ветра и дыма.
И не было наших объятий безгрешней,
и нету любви, что как наша ранима.

...Тот город остался давно и далёко,
но в чудо твоё не могу я не верить.
Я знаю: ты ждёшь невозможного срока –
опять отпереть его древние двери.

1970

* * *

На взлётном поле пахло морем –
шёл шквал дождя,
турбины выли,
весь мир был наглухо затворен
тугой стеной из мокрой пыли.

Над сухопутным взлётным полем
сомкнулись серым сводом струи,
и океанское раздолье
в машины било, озоруя.

Оно в них проливень бросало,
и те,
как рыбины у камня,
прижавшись к аэровокзалу,
зашевелили плавниками.

И морды вытянув по-щучьи,
пропарывались сквозь теченье
туда, где каменные тучи
торчали тяжко в тёмной пене.

И в этом пресном океане,
укрывшись под намокшим клёном,
лишь ты таила на прощанье
у глаз две капельки солёных.

1968

ДЕЙСТВО ДЕТСТВА

1

Она спит в коляске.
Над ней мохнатится ель,
пришедшая сюда из древних времён.
По веткам, увешанным зелёными шкурами,
снуёт белка,
и кажется – это челнок, ткущий сон.
Весь лес в густом бархате сна.
И узелок,
на котором держится эта тихая ткань, –
лицо малышки:
щёчки порозовели от сна, солнца
и прозрачной смолы, пропитавшей воздух;
губки слегка вытягиваются,
ресницы чуть приметно вздрагивают,
пальчики сжимают перо зяблика,
упавшее в коляску.

Дитя человека
здесь – как порожденье вековой ели,
выпестованное белкой, зябликом, лесом и небом.
Пока ничто не отделяет его от них.

С дороги неподалёку –
гул невидимых машин, сотрясающих
смолистый воздух.
Но это уже другой мир, к которому девочка,
ель и белка непричастны.

1971

2

Там, на лугу, среди тёплых цветов,
извилистых трав и синевы – девочка.
она бежит, разбрызгивая кузнечиков.
В её руке корзинка,
отштампованная из пластмассы,
в корзинке – пластмассовая ромашка.
Девочка придерживает пальцами
свой неживой цветок.
И мне показалось – девочка слепая.
И мне почудилось – вместо сердца у нее моторчик.
И мне подумалось –
кто-то невидимый управляет ею по радио.
И мне сделалось жаль её.
Она равнодушно проходила мимо живых тёплых
цветов, мимо кузнечиков,
сжимая в руке бездушный кусочек синтетики,
превращённый машиной в подобие ромашки.
Я представил на миг,
что луг – это декорация: травы и цветы
сделаны из цветного полистирола,
всё искусно залито голубым плексигласом,
и внутри движется пластмассовая куколка
с корзиночкой в руке.
Всё, как настоящее, всё, как живое,
и поэтому всё такое страшное,
такое безнадежно-убогое,
такое нечеловеческое.

1971

* * *

А тут ещё живёт густая тишина,
и теплятся лучи в смоле кедровых стланей,
и медная роса скользит бесшумно вниз
по колоколу лилий и саранок.

Не слышно птиц –
им гуща тишины
закрыла горло, склеила их перья.
Не слышно ветра –
чёрные гольцы
смирили ветер каменной ладонью.

Ручей молчит –
зарылся в крепкий мох, увяз в траве,
ушёл в зелёный сумрак.

И озеро безмолвствует – оно
прозрачность бережёт, незамутнённость,
таит и пестует своих неслышных рыб
и водорослей заросли живые,
и мысль о глубине и тишине.

Как хорошо, что есть лучи в смоле,
роса на лилиях и на саранках
и чёрные гольцы,
и моховой ручей,
и озеро с его глубокой мыслью
о тишине.

1966

* * *

Земля волнуется и хохлится,
холми́тся,
увалом налезает на увал,
и на дыбы встаёт
равнинная землица,
рожая в муках
свой Урал.

Судьба её трудна по-женски,
по-бабьи,
по-безмужнему трудна:
себя забыть
и для детей вселенских
все дни и думы отцедить до дна!

И там,
когда Урал уйдёт на запад,
один удел земле от века дан –
опять любить
и снова, корчась, плакать,
чтоб где-то на востоке
жил Саян.

1964

* * *

На Север,
к полотнищам тундры,
к горловинам тревожных раскидистых рек,
где фонарик на мачте,
далёкий и смутный,
золотинкой дрожит
в предрассветном скупом серебре!

Сердце тянется к скудости дальних просторов,
сердце учится строгости,
мудрой и трудной,
там, где терпкий багульник,
и трепетные озёра,
и жарки́, как пожары,
мятутся над тундрой.

В синих далях и долах,
проколотых острой осокой,
меж оленьих следов,
средь обточенных рыб и задумчивых птиц
глаз
вбирает и медленно копит до срока
красоту
без начала, без дна и границ.

Так всегда.
Этот Север,
пронизанный резкою синькой,
манит сердце и глаз,
и зовёт, и таит свою хмурь, свою хмарь...

И дрожит
в серебре предрассветном тугой золотинкой
позабытый на мачте
далёкий фонарь.

1965

* * *

Вечерние птицы к вечерним летят берегам,
над чёрными волнами тянутся белой строкой.
Ни крыльев, ни клювов, ни взмахов –
лишь белые точки, и всё,
протянуты белые точки от моря к далёким горам.
И я не могу прочитать той строки, но я знаю – она
о чем-то спокойном – о гнёздах, о тёплых
птенцах,
о радости в срок возвратиться домой
и о том,
как прочно плечо заволоченных дымкою гор,
как зыбки просторы холодного моря,
как путь
был грозен между континентами,
через вражду стихий океанских,
заполнивших ночи и дни.

И каждая птица видна в той далёкой строке,
и каждая птица, как слово – не будет её,
не станет строки,
удивительной светлой строки,
о чём-то спокойном – о гнёздах,
о тёплых птенцах,
о том, как не просто попасть к ним,
минуя простор.

1967

* * *

Тала́ из свежего сига,
наструганная на морозе,
и уссурийские снега,
и даль реки,
и след полозьев.

А древний вкус талы, как песнь.
Пусть лепесток во рту растает –
в нём что-то от просторов есть,
от трав, рождённых в этом крае,
от всех цветов приречных пойм,
от длинных водяных растений...

Не жуй талу, а тихо пой,
как слово
древних песнопений.

1968

ЧУМ

Это за Подкаменной Тунгуской,
где на острове песчаная коса.
Там ветра бормочут не по-русски,
на реку туманы побросав.

И стоит, продравшись сквозь столетья,
вечность, как сову, прижав к плечу,
старше всех на этом старом свете,
из шестов и шкур
мохнатый чум.

Где-то строились и гибли пирамиды,
время камень смалывало в прах...
Здесь дымок над чумом
так же руки вскидывал
меж просторов
на семи ветрах.

Из глубин времён и непогоды,
тающие, как весенний лёд,
пусть приходят и проходят теплоходы,
и в динамиках мелодия поёт...

Чуму всё равно.
На острове далёком,
иссечён ножами лозняков,
глазом костровым, дымящим оком,
он, не видя, смотрит из веков.

1963

* * *

Если б на стене
все профили, все тени,
контуры и росчерки
остались навсегда.
Если бы
их сумрачное тонкое сплетенье
можно было видеть
через дни,
через недели,
сквозь года.
Как проплыли б,
просквозили,
пролетели,
пронеслись по стенам
тени тех,
что прошли через гудящие метели,
не угаснув,
не устав,
не ослабев.
Как пробились
прогудели б,
промелькнули,
как скользнули
по извёстке напрямик
в неизвестность, в вечность, в нежность
и под пули
тени тех,
кто в памяти возник!

1964

СЛОВА ШАМАНЬИ

Здесь верится: шаманья сила –
заклятье первобытных слов –
кочевья в клочья разносила,
туманясь в темени голов.

Гремело гневное камланье
и раздирало небосклон,
и ясен до конца заранее
был ход судеб и цель времён:
ждала погибель
в сером море,
на серой тундре
и в горах –
то зяблым голодом уморит,
то стылым ветром смелет в прах.

И жалости ни полслезинки
не выжмет каменный простор.
Глазами соляными зыркнет
и спрячет взгляд за щебнем гор.
Железными руками – в шею,
ногою каменной – взашей.
И плачешь, плакать не умея,
хоть веки жилами зашей.

Так много скудости,
так мало
следов живого бытия.
И слово древнее дремало
в дремучих северных краях.
В названьях затаился бубен.
Где камни вперерез струям,

своё бормочет имя людям
река Кэтонгытонваям.
Калелагрываям, а после
грохочет Майнельвегыргын –
как будто нож кремнёвый бросили
в покатые бока долин.

...Бреду по голым плоскоморьям,
где ветер – выстрел наповал.
Шаманьи бубны
рек
и моря
швыряют древние слова.

1967

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

То сиреневы, то розовы,
то черней сырой коры,
то пером дико́го селезня –
краски на крыле горы.

Раскрылился, раскурился,
камни косо напластал,
встал над северной осокой
нелюдим, нелюб, непрошен,
нелюдимый, нелюбимый
и непрошенный
Урал.

Что умеет он?
Лишь реки лить из горных хрусталей,
да закрашивать их синью,
сдобрить йодом и оплавить
в горне зорь тугой оправой из крутых цветных
камней.

Что имеет он?
Лишь ветры,
снег в извилистых морщинах,
бесприютные просторы,
льда оскал в седых морях.
И прядут,
и крутят тучи
на вершинах сорок прях.

1965

ОМУЛЬ

Как родилась эта жемчужина
в гудящей раковине Байкала?
Глубинам вод, ветрам натруженным
её давно недоставало.
Они сговаривались
долго ли?..
Они искали форму с цветом...
Догадкою блеснули омули,
как трепетные самоцветы.

Но лишь потом, чрез многолетия,
чрез поиск, что глубин глубинней,
сложилось тонкое соцветие
из красок, запахов и линий.

Слились, в живую каплю собраны,
прозрачность бездн и благость солнца,
лесных пространств четыре стороны
и водорослей волоконца.

Сомкнулись, сдвинулись, собралися
в веретене тугого тела –
смолистый дух кедровых зарослей,
дыханье земляники спелой,
и пряность пихты, и багульника
густая праздничная пряность...
И удивление ушкуйников
у сети на заре багряной.

1966

* * *

Узор досок убог и сер.
Калитка открывалась в бездну.
И пением небесных сфер
был ржавых петель скрип железный.

Открыл, и сапоги ступают
на синь, что налита в долинах.
И взгляд летит, скользнув по краю,
за взмах тайги, за горный вымах...

Так начинает день искатель.
Он отпирает родники
и наблюдает, как из капель
родится полотно реки.

Руками в ссадинах и глине
он раздвигает створы скал –
узнать, как в каменной пучине
цветёт и зреет минерал.

Он мёрзнет в медленном тумане,
он жгучий луч отодвигает,
а там, в долине, в синем чане,
смолистый полдень закипает...

И далеко поёт калитка
о всех, кто ищет и искал,
чей след над зыбкой бездной выткан
и врезан в древний камень скал.

1961

* * *

Это свечение моря.
Так странно –
из-под кормы голубым фонарём.
И за бортами
глаза океана
тьму прожигают зелёным огнём.
В чёрной глуби остеклевшей равнины
огненным шаром прошаркнет дельфин,
и просверкает за ходом дельфиньим
синее пламя охотских пучин.
Где-то за мачтой повисли светила...
Им ли сманить разбежавшийся взор?
Море глубины свои превратило
в космос, где невидаль смотрит в упор.
Брызги созвездий морских,
клубы света –
Млечным путём по пути корабля.
Там и земное подобие где-то –
искра с названьем знакомым «Земля»...
Бросишь картошку иль голову рыбью –
вспыхнет,
расцветится яркой фольгой.
Мятым ведром клинья молнии выбью,
вытяну молнию вместе с водой.
Палубу призрачным светом намылю,
шваброй сиянье сгребу с чешуёй...
Пламя вселенной
пронижет навылет
небо и море, и сердце моё.

Охотское море, 1967

ВЛАДИВОСТОК

Протрубят туманы в Золотой Рог,
проревёт сирены белый бык,
океан раскроет веер всех дорог –
уходи сквозь ветер
напрямик!
На зелёных кручах
город чист и крут,
выгнут словно парус возле бухт,
флагами стреляет на густом ветру,
никакие бури город не берут.
С пирсов его длинных
да с высоких мачт
дальние пределы манят взор –
там вулкан Камчатки,
там Курил кедрач,
там чукотской тундры северный узор.
Королевским крабом – розовее роз –
уползает солнце в глубину.
Тигровых саранок вечер в город нёс –
уронил в заливе на волну...

А когда жестокой хваткой штормовой
бури схватят город –
не робей!
Разрезай туманы,
рви за слоем слой
взмахом скал, домов и кораблей!

1967

* * *

Не доверяй
ни камню,
ни кустам.
Неверный шаг
им для того и нужен,
чтобы с песком и глиной пополам
ты был обвалом схвачен и завьюжен.

Корням и сучьям
жизнь не доверяй
и о предательстве хвои сосновой помни –
скользнёт нога,
и пальцы схватят край...
И эхо бросит крик в каменоломни.

Надейся лишь на мышцы и глаза,
на мудрость ног
и тонкий разум тела.
Себя ты волей к скалам привязал
и камень сдался,
и душа запела!

1961

* * *

Где грань,
за которою чашка
становится чашей,
дуга превращается в радугу,
вилы в трезубец...
И ковш, словно лебедь,
изогнутый плавным полётом.
И выси небесной повторы
в простом коромысле.
Берёстовый туес –
как тёплая тишь предзакатья,
как память о дедовском доме
и мёде на робких губах.
И в петлях просторной рубахи
есть ритмы излучин речных.

Входило искусство
в убогую повседневность,
склонялося к люльке и гробу,
гнездилось в домах и часовнях,
во храмах и кабаках...

Так в чём тайна этой тоски
по изгибу лебяжьих ковшей,
по берёстовой утвари
в век электронных чудес?

1969

* * *

Зачёркнуто чудо тяжёлым ненастьем,
задёрнуто диво моросью сивой,
ветрами и штормом рассечено криво,
крутыми горами взято под обрывы...

Но диво есть диво, и чудо есть чудо –
слезает вся хмурь помутневшей полудой.
Кусками и клочьями старого скарба
кидает Байкал тучи тяжкие за борт!

Грозой расчищает хребтины и пади,
метлой выметает всю непогодь за день.

И к вечеру звёзды разбиты на блики
и медленно зреют, как гроздья черники.

А к утру осенним листом бересклета
зарю разжигает стоцветное лето.

Потом, ослепляя прозрачностью сини,
день дальние створы широко раздвинет.

И сердце, хлебнув тишины и простора,
всё будет их пить и напьётся не скоро.

И после, до края наполнившись чудом,
захочет отдать его травам и людям.

1966









Книга третья

«ОБЛИК СТРАНСТВИЙ»

1976

* * *

Талантливые неудачники,
искуснейшие неумехи.
О сколько же в глубинах времени
вас, преждевременно забытых!
Способные не приспособлены
тащить на торг свою способность.
Способные не знают способа
способствовать своей удаче.
Из всех земных чудес и радостей
доступна им одна искусность.
С годами делаясь искуснее,
судьбу они не искусили.
И часто в убежденье сумрачном,
что труд их никому не нужен,
они провидели грядущее
и жили в нём, того не зная.
И в совершеннейшем отчаянье
они вершили совершенство
и завершали путь неведомый
вершок к вершку, наверх к вершинам.
И только позже доживал до них
мир, признающий лишь удачи,
и рвал плоды с их веток трепетных,
к нему проросших через Время.

1972

НОЧНЫЕ ОКНА

Эти окна –
словно старые иконы.
Не поймёшь, кто в них –
так тёмен лик.
Но какие-то ведь есть неуловимые законы,
по которым можно распознать,
кто там к стеклу приник?

Вот на тусклом золоте дрожащих занавесок
две неясных тени слились в одно пятно.
А вот под стосвечовым нестерпимым блеском,
словно в нимбе,
некто выглядывает в окно.

Там на мутной меди силуэт с младенцем,
на сурьме размытой с книгой силуэт.
В таинстве полночном угадываю сердцем
пророков и пророчиц неизбывный свет.

Пусть они не ведают,
и я для них неведом,
пусть они темнее, чем копоть от веков, –
лишь бы оставались
меж землёй и небом,
охраняя души,
кровь людей
и кров.

1973

ЧАСОВЩИК

Дождь времени!
Часы и сутки
стекают каплями со щёк.
Каморку полнят перестуки
и маятников перещёлк.

Бой начинается натужно
от Мозера и от Буре.
Часы нестройно и недружно
галдят, как галки в сентябре.

В шкафах, на стенах и на полках
проснулось Время.
Часовщик
сквозь неприметнейшую щёлку
его рассматривает лик.

Вот, захвативши бровью лупу,
от мира напрочь отрешён,
старик пинцетиком ощупал
нутро латунное времён.

Там на колёса намотало
волокна отошедших дней,
и годы пылью залежалой
покрыли зеркало камней.

Наверно, каждая секунда
под лупой вырастает в час,
и старику совсем не трудно
коснуться судеб, ждущих нас.

Он видит за сплетеньем стрелок
путь взлётов и падений дно...

Давно уж сердце изболело
от знанья, что ему дано.

Нет отдыха и нет покоя.
Провиденье – как тяжкий крест.
Едва лишь крышку приоткроет –
на годы видит всё окрест.

Когда же знанье, словно щёлок,
жизнь переест и выжжет взгляд,
он упадёт,
и с этих полок
часы, как галки, загалдят.

1969

ВЕДУНЬЯ ТРАВ

По откосу городского парка,
раньше птиц нарушив утренний покой,
через муть сырую
древняя знахарка
пробирается и шарит по кореньям
узловатой быстрою клюкой.

В путанице, где полынь и повилика,
где в крапиву вкраплены осока и осот,
что-то щупает и нюхает (попробуй, угляди-ка!),
что-то прячет в сумку,
что-то в пальцах мнёт.

А когда проснётся город и зарыкают машины,
прихватив пучки сушёных трав и в пузырьках
отвар,
поспешит старуха
через пыльный двор под оклик петушиный
и – в троллейбус,
и – пораньше на базар!

Издавна в рядах есть место под навесом.
Шаркая, к прилавку подойдёт едва,
тотчас же
травы и чёрной, и белёсой
вывесит, разложит
и нахохлится, как старая сова.

Морщины по лицу – как причудливые перья,
но глаз глубок и зорок, хоть от годов жёлт,
в праздных любопытных кидает недоверьем,
для страждущих и алчущих
всю мудрость бережёт.

«Средствия» от немощей, болезней и недугов...
Приготовь настой,
нажми
и надави –
пользуй сам себя, знакомых и супругу,
укрепляя силу сердца, силу почек и любви.

Снадобья из леса, с лугов, с огорода...

И чудится сквозь пряный базарный зной,
будто не старуха,
а Сама Природа
принесла целенья в кошёлке прутяной.

...И назавтра
снова по сырому парку
из дальних веков, законы времени поправ,
побредёт
последняя
наследная знахарка,
ведунья деревьев, кореньев и трав.

1971

* * *

О почему же, проходя мимо лотков,
где лотерейные билеты и брошюры,
всё чаще вглядываюсь в лица стариков,
в глаза их с близоруким и беспомощным
прищуром?

Ловлю себя:
боюсь узнать друзей
в бесформенных фигурах за лотками.
В тщедушье ртов и в жилистости шей
всё вижу тех, что стали стариками.

Всё кажется –
они, бодрясь, кричат,
что только здесь счастливые билеты...
И прошлое, как сытный синий чад,
сдувает ветром от дверей «Котлетной».

По лотерее выпадало нам
и счастье, и несчастье, и отчасти
мы всё это делили пополам,
и половинки сжёвывали наспех.

И так вот,
наспех пробегая жизнь,
расталкивая дни её боками,
с низин её, с крутых её крутизн
гляжу на тех,
что стали стариками.

1966

* * *

А человека нет.
Он ходит среди нас, он говорит,
он морщит лоб, он курит.
Но нет его.
Он был, и он погас.
Есть абажур, нет лампы в абажуре.

О, на какой же грани
ускользнет,
уйдет в небытие неповторимость?
Остался облик, говорящий рот,
но слово
в пустословье растворилось.

Он весь
как слепок с самого себя.
Он сам себя
перепевал стократно.
Повторами живую мысль губя,
вперед – нельзя,
а можно – лишь обратно.

В знакомость, с незнакомостью порвав...
Былая свежесть обернулась ядом.
Он впитывал отраву из отрав.
И нет его,
хотя он с нами рядом.

1967

ВИДЕНИЕ В ВИЛЬНЮСЕ

Выверни время, как старый чулок –
посыплются камни
и сложатся в башни,
следы от когда-то истлевших сапог
до края наполнятся жизнью вчерашней.

И вот
ты невидим,
не стало руин.
Шаги за спиной!
Сквозь тебя, как сквозь воздух,
проходит в домашней парче Гедимин
без свиты,
без света,
без песни,
без позы.

Вседневная жизнь в Верхнем замке его.
В окошко-бойницу лишь месяц пробьётся.
Ломаются годы об это жильё,
ломаются судьбы и сталь крестоносцев.

Сырыми лесами пропахла весна,
и меч даже в ножнах тускнеет от сыри.

Князь выпил серебряный ковшик вина
и выщипнул крошку подсохшего сыра.

Вы смотрите вместе.
Оконце в стене
наполнено лунным лучением длинным.
Он видит поляну в ночной пелене,
а ты –
площадь имени Гедимина.

Он ковшик задумчиво держит в руке,
и мысли далёко бредут сквозь чащобу...
Он слышит, как рог протрубил вдалеке,
но ты-то ведь знаешь,
что это автобус.

Вы встретились взглядом –
один на один –
за гранью столетий,
над бездной, на крае...

Но тихо глядит сквозь тебя Гедимин.
И бездна истории вас разделяет.

1968

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Годы и дни – как пчелиные соты.
Столько их набралось!
Расставить по ульям – получится пчельник.
И ты,
как от пчёл, отмахиваясь от мелочей и суеты
сегодняшнего дня,
заглядываешь в ульи
и всё чаще
начинаешь замечать соты,
запечатанные клеймом
«последний раз».

В сорок первом...
Оставалась неделя до войны...
Но кто знал, что неделя?..
Ты шел вместе с другом. Был жаркий день.
Пили газированную воду.

Остаток воды из стакана он плеснул себе на грудь.
Рубашка намокла, прилипла к телу,
и вы рассмеялись из-за этого пустяка.
Потом он протянул руку и сказал: «Пока».

В октябре он погиб под Волоколамском.

Отыскав в сотах прошлого тот день, ты только
сейчас,
через десятки лет,
понимаешь –
тогда у ларька газировщицы
в последний раз видел его.

Надо бы задержать его руку,
спросить о важном,

о самом главном –
о смысле жизни,
о движениях судеб,
о грядущем...
Но тогда ты видел лишь мокрую рубашку,
и вы смеялись, и он сказал: «Пока».

И ещё
ты притрагиваешься к сотам прошлого
и наполняешься шёпотом.
И весенние запахи земли, черёмухи, первых трав...
Женщина шепчет – не разобрать слов, но шёпот
остаётся в душе.
И прикосновение рук её – как праздник.
И прощание на лунной тропе.
Её губы.
Тогда ты думал, что придёшь ещё и ещё...
Ты не знал, что губы её, земля, травы, черёмуха –
в последний раз.

Остаться бы тогда до утра и на весь день,
и на неделю,
и на годы.
Но ты уходил
в последний раз.

О, если б знать, когда последний раз!
Но, пожалуй, лучше не знать.

Вот ты на пчельнике своей памя
и отмахиваешься от мелочей
и суеты сегодняшнего дня, как от пчёл,
мешающих заглядывать
в ульи, рассматривать соты...
И ты не думаешь, что мелочь,

от которой сейчас
отмахнулся,
вовсе не мелочь,
ибо это – в последний раз,
как мокрая рубашка друга,
как шёпот женщины на лунной тропе...

В последний раз.

1972

* * *

Извлечение звуков
из струн
и из древа –
из бараньих кишок
и еловых досок,
да из конских волос,
когда вправо и влево
утомлённым челном проплывает смычок.

Всё так просто.
Всё сделано просто руками,
и на лбу музыканта – размазанный пот...

Почему же
душа говорить начинает стихами?
Почему её проза простая
к себе не влечёт?

1967

ЦЕРКОВЬ ЛАЗАРЯ МУРОМСКОГО В КИЖАХ

Бысть в оны дни...
И. Бунин

«Прииде святый Лазорь в Заонежье
и став первосвятитель человеков, в язычестве
погрязших.
Бысть: его шалаш убогой
сожигаша язычники
и в рубище ледащем
шед Лазорь по морозе
и вельми несе Господне имя иноверцем.
И проповедь его достигла
сердец.
И побросаша людины олонецкие идолищ –
что каменны – тех в воды,
а тех, что деревянны, – пожигаша на кострищех.

И днесь
с глаголом христианским на устех,
те люди храм из древа воздвигаша,
от коего пошел Муромский монастырь.

И нарече его «Храм Лазорь святый».

...И вот уже в изящную таблицу
впечатано по-русски, по-английски и по-фински:
«Храм Лазаря Муромского».
И там
семейство состоятельных французов,
два немца, англичанин и японец
стрекочут –
кто кинокамерой, кто фотоаппаратом.

И гид из олонецких мужиков
им по-английски говорит,
что церковь построена в четырнадцатом веке
и что она стояла раньше на кладбище,
где хоронили
людей, своё радение и жизнь отдавших
далёким неосвоенным местам
на Севере Российском.
Но недавно её перенесли в Кижи.
Теперь она доступна обозренью
и строгостью своих пропорций чистых
сравнима с творениями классики.

Посыпались вопросы.
И гид, ответив, что полагалось,
повел туристов к могиле,
где похоронены солдаты Заонежья,
погибшие в прошедшую войну.
Затихло жужжанье камер, цокот аппаратов.
Иноземцы молча смотрели то на могилу,
то на церковь и что-то вспоминали...

А церковь-одноглавка
корабликом плыла из века в век
по синим далям,
где Лазарь некогда прошёл среди лесов.

1968

* * *

Мысль,
полюбившая исхоженные тропы,
бредёт по ним упрямо, как осёл, вдыхая запах
сена и укропа и сладкий дым
знакомых с детства сёл.

Трудней всего,
схвативши за верёвку,
стащить её силком на бездорожье!
Тогда она засеменит неловко,
в испуге затрясётся мелкой дрожью.

Ей страшно первой, первый раз на свете
ступить на землю без чужих следов:
здесь камень остр, и корни – точно сети,
и ветер зол, и солнца свет суров.

Неловок ты, и на тебя с дороги
показывают пальцами, хохочут...
Насмешки смелость заменяют многим,
кто сам путей прокладывать не хочет.

А ты иди,
споткнувшись, наземь падай
и на осла ругайся и свисти.
Отныне станет для тебя отрадой
Боль и веселье нового пути!

1951

* * *

Как странно простирают рукава
ветрами вспузырённые рубахи.
Как будто в них душа людей жива
и вырывается наружу в каждом взмахе.

Сокрытые желания людей
тут, на ветру, беснуются открыто,
становятся и зримее, и злей,
пройдя через чистилище корыта.

Зовут кого-то, молят и манят,
взъярясь, остервенело машут,
не думая: впопад иль невпопад,
отбросив напрочь щепетильность нашу.

Их жест несдержан, он нелеп, но лих
и без оглядки режет о предмете...

И жаль становится, что откровенья их
выслушивает только ветер.

1969

* * *

Есть лоция моря
и лоция рек.
Нет лишь лоций судьбы,
жизнью сверенных лоций.

Волны встреч и прощаний стучатся о брег,
и по скалам времён
пена горькая бьётся.

Но где скалы?
Где берег?
Где штормы?
Где тишь?
Где разлуки и встречи?
Где встречные ветры?
Ты на грани мгновенья неловко стоишь
и не знаешь, где грань,
и не ведаешь, где ты...

Прорицанья гадалок?
Их шёпот нелеп.
У пророков искать этих лоций не надо.
И, наверное,
в этом
вся прелесть судеб,
вся их трудность,
вся горечь
и вся их услада!

1965

* * *

Мы там ещё живём,
пока мы живы,
мы там,
хоть не бываем никогда...
Минуя вёрст и времени разрывы,
стучимся в отошедшие года.

...И вот изба и запах мёда с мятой,
хоть нет давно ни мёда, ни избы.
Грубеем, жизнью тёрты и измяты,
лишь корни чувств нежны и не грубы.

И удивлённость первого познанья
познаньям поздним нашим не чета –
ведь мир, где краски – радуга фазанья,
нам заслонила
трезвая тщета.

Мы тайно там живём,
пока мы живы,
туда стучимся и отраду пьём
и, проторив житейские извивы,
как в радость входим в прошлое своё.

1972

МЕДАЛИ

Медали чеканят для того,
чтоб они, отливающие золотом, звенели на груди
солдата в День Победы;
чтобы потом их долго хранили в сундуке,
в ящике стола, в коробочке, заложенной
в дальний уголок, в старом комоде...
Там лежат они десятилетьями, полузабытые,
ожидая больших праздников и годовщин.
Медали чеканят для того,
чтобы их собирали коллекционеры, завёртывали
в папиросную бумагу и укладывали в отделения
специально приспособленного секретера.
Медали чеканятся для того,
чтобы лежали в витрине музея,
останавливая на себе
почтительные глаза экскурсантов и изучающие
взгляды знатоков.

Но самое главное:
медали чеканят для того, чтоб через многие годы
их, позеленевших и потускневших,
находили мальчишки и спрашивали:
«Дедушка, что это?»
И дедушка отвечал бы:
«Это медаль за взятие Берлина, малыш».
И мальчишки впервые почувствовали бы
на щеках
дыхание Истории.

1971

СВАЛКА

Тишина захламлена...
В заваль и в навал –
мусорная музыка,
сорные слова.

Динамики, транзисторы,
магнитофонный хрип
налипли, как полипы,
к полям и к листьям лип.

Как пыль,
как гарь и пепел,
несёт по городам
шальное дребезжанье,
жестяный визг и хлам.

Друг перед другом пыжась
до выхряста хрящей,
стараются,
чтоб шваркнуть по тишине мощней.

В окно,
в аллею,
в улицу –
как завали обвал –
изжёванная музыка,
затёртые слова.

1974

ДЫХАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Тупики, закоулки, проулки,
дома кривые по бокам;
перед носом на витринах – сельди да булки;
у глаз в пыльных окнах – старый хлам;
в ушах – трамвайный скрежет, цокот
натужно тянущих телеги кляч...

Суета, мелочность быта, пустяки
хватают за локоть,
раздёргивают, растаскивают тебя –
хоть плачь.

И вот уж нет выхода, нет сил, нет надежды,
не выбраться больше – засосало до конца!..

Но сейчас ты поймёшь,
каким глупым невеждой
был до сих пор – до превращенья в мудреца.

Тебе вдруг душу разом разомкнуло, расторгло,
и взгляд проваливается
в пустоту, в даль, в простор – это за обрывом
размахнулась Волга,
и ты
глаза и мысли
рукавом её протёр!

И ты отрываешься от булок и селёдки
к неоглядной равнине,
вливающейся в небеса.
Там даже солнце
теряется,
где-то посерёдке,

меж Костромой и Саратовом
лучи разбросав.

И заволжские дали –
синь лесов и равнины...
И горизонт упругой тетивой
рассекает беспредельность на две половины
и пронзает сердце синей стрелой.

И всё дальше, дальше
затягивает и тянет,
и летишь, и паришь в высоте, в вышине...

О как мир велик
и как мудры земляне,
открывшие Волгу
и остальную Вселенную
вслед за ней!

1973

ЛУННЫЙ СВЕТ

Осенняя ночная Бухара.
Зеленоватой лунной пылью
осыпан вымерший пустырь и глинобитные стены,
когда-то ограждавшие город.
Лунное безветрие,
лунное безмолвие,
чуть надорванное с краешка далёким криком осла
и перекарком птиц, собравшихся в парке
для отлёта.

Иди по лунной пыли
мимо изогнутой, оплывшей, как старый воск,
стены.
Корявые акации протянут к тебе
коленчатые ветки с высохшими листьями
и бросят под ноги стручья,
липкие, словно полосы чёрной пастилы.

Ты вступаешь в их тень,
густую и вязкую, как ил на дне старого колодца.
Тень ослепляет глаза.
Ничего не видно.
Колючка обдирает щеку –
это сама ночь хватает тебя, когда ты входишь
под деревья.

Вливайся, впивайся, врастай в первозданную тьму.
Иди, как слепец, протянув руки перед собой.
Не смущайся долгой дорогой во тьме –
иди и иди, нашаривая ногой корни деревьев,
стручки акации, скользкие от перебродившего сока...

Тебе надо миновать
десять столетий,

десять веков, покрытых глухой
непроглядностью,
словно каменным куполом.

На последнем мгновенье последнего столетия
твои руки наткнутся на звонкие сохлые листья
кустарника.
Раздвинь их...

И ты узнаешь,
что лунный свет –
это не зелёная пыль пустыря,
не бесформенные пятна,
не изломанная тень сучьев на жухлой полыни.

Ты узнаешь, что из лунного света
можно построить мавзолей.

Впрочем, нет, не построить –
строят из кирпича,
из грубых серых глиняных брусков.

Из лунного света можно
отчеканить,
отлить,
вырезать,
сплести
мавзолей.

Ты видишь его:
на фоне чёрного неба,
чёрных деревьев,
чёрных стен древнего города
стоит грандиозная шкатулка,
собранная из лучей.

Лучи откованы молоточком ювелира,
искусно соединены в узоры,
отполированы алмазной пылью.

Прозрачный орнамент висит в воздухе,
и зеленоватая эмаль между серебряными
полосами светится под луной.

Фосфорическое, зыбкое сооружение
дрожит и переливается.

Не двигаясь, ты долго рассматриваешь его,
скользишь взглядом по граням,
впитываешь лёгкий рисунок.

Ты не восхищаешься
(восхищаются, оценив что-то разумом,
восхищаются, вторя молве,
восхищаются напоказ...
А ты ничего не знал про мавзолей,
он возник неожиданно, чудом.
Кто ж восхищается чудом?
Чудо застаёт людей врасплох,
как удар молнии, как самум, как потоп).

Ты стоишь, поражённый колдовством мастерства,
чародейством древнего искусства.
Ты забыл о себе,
о десяти столетиях,
пройденных средь колючих ветвей, залитых тушью,
о лунной пыли, осыпавшей башмаки,
о звёздах, запутавшихся среди последних листьев,
о крике осла и о гомоне птиц.

Ты долго стоишь, не двигаясь.
И мавзолей сияет светом,

ожившим в руках мастера
десять веков назад.

Потом ты делаешь несколько шагов
и видишь продолжение чуда:
стена мавзолея оживает вместе с твоим движением.
Лучи перемещаются, сплетаясь в новый узор;
прозрачная решётка орнамента
перекручивается;
серебряная чекань рисунка,
который ты только что видел,
уходит вглубь, исчезает,
и на её месте – другой орнамент, другой рисунок,
и весь мавзолей – другой:
ты заново видишь его.

Ещё десяток шагов, и перламутровая стена
сияет новой прихотливой насечкой,
невиданной и тончайшей.
Стена светится переливом
зелёных, изумрудных, голубоватых, бирюзовых
тонов и оттенков.
Она словно хвост райской птицы,
изображенной на древнем арабском пергаменте.

Продвигайся вдоль стены
по нескольку шагов,
пей пространство медленно,
как зелёный чай из драгоценной пиалы –
чем меньше глоток,
тем тоньше аромат
и изысканней вкус.

Ты вспомнишь сплетенье чешуек и жилок
на крыле ночной бабочки,

радужные переливы в глазу стрекозы,
цвета побежалости на калёной стали,
свеченье ночного океана, потревоженного
дельфином,
одинокое мерцанье светляка в чаще леса,
россыпь звёздных ресниц на снегу...

Ты всё это вспомнишь и поймёшь:
искусство древнего мастера
выше, прекрасней и тоньше
всего, что ты видел за долгую жизнь.

Ведь никому из смертных не удавалось
отчеканить живой орнамент из лучей луны –
чудо,
которое возникает, едва перейдёшь пустырь
за старинной стеной
и минуешь десять веков среди тёмных акаций.

Только не ходи сюда днём с экскурсией,
ибо то, что под клацанье аппаратов
расскажет гид,
будет тоще, сухо, скудно, как высохшие листья.

Гид скажет:
«А вот перед вами памятник девятого века,
знаменитый мавзолей Исмаила Самани».

1969

* * *

Весенний грохот лыж о наст
и смоляная свежесть ёлок,
и нестерпимо в снежный пласт
впился луча цветной осколок.

И птица первая дудит
с полудня в ледяную дудку,
и почки у седых ракит
уже не спят, а дремлют чутко.

Стал снег, как бусы из стекла.
Ручей, как ржавая подкова.
Зима почти что истекла,
и всё потечь давно готово.

Последний раз о снег гремят
набрякшие водою лыжи.
И твой сквозной весенний взгляд
проталину на сердце выжег.

1968

* * *

На Лене лёд.
На Колыме снега.
На Индигирке тёмное ненастье...

Но и зима не так со мной строга,
как ты,
и, видно, это к счастью.

Уйду. Аэродромы приютят
и перебросят в дальние пределы.
Я буду бесприютностью богат.
Наверное, ты этого хотела.

И стану пустоту своей груди,
как ватой, забивая облаками,
тепло души безжалостно студить
чужими взглядами, реками и руками.

Но как мне быть среди моих невзгод,
средь маеты, мучений и усилий,
когда окажется,
что пустота и лёд
одну тебя
до сердца просквозили?

1968

* * *

Разве что-нибудь значит,
о чём говорить?
Лишь бы голос услышать,
один только голос...
Дрогнул голос, как волос,
как тонкая нить –
и стекло расстояний тотчас раскололось.

Будто губы коснулись,
как будто ладонь...
И не провод,
а просто вот здесь, где-то рядом...
Тёплый воздух призывно и трепетно тронь –
и пронижет
пронзительно-нежным разрядом.

...А о чём говорили,
не помню, забыл.
От рассеянных слов и не ждут урожая.
Только голос
знакомыми взмахами крыл,
расстоянья поправ,
нас с тобою сближает.

1972

* * *

Нет, это не для слуха,
не для зренья.
Лишь сердце чует, сдерживая страх:
пружиной ржавой выпирает время,
не помещаясь в сломанных часах...

Слова не умещаются в сознанье –
смысл раздирает одеянье слов...
Всё вперекос.
Какое наказанье,
когда беда срывает с бед засов!

И сломаны часы, как память об утрате.
И станет нелегко дышать и жить.
Но всё же
под разбитым циферблатом
ещё пружинка слабая дрожит.

1967

* * *

Лето пахнет шпанской мухой,
мятой мятою и мёдом,
и гудит шмелём над ухом,
и встаёт над сизым лугом
солнышком рыжебородым.

Под лучами
пыль и небо,
под ногами
быль и небыль.
Это лихо, это лето –
словно в сердце острый стебель!

Взгляд черёмуховых ягод,
губ малиновых касанье
пригубляю, принимаю
за любое наказанье!

Лето пахнет мятой мятой,
разморённою крапивой
лето – лихо,
лето – ладо,
лето – ласковое диво.

1965

* * *

Был долгий снегопад.
Горел костёр.
Смешалось шуршанье снега с шёпотом
огня.
Смешались наши взгляды,
и смещались
глухие тени
к окончанью дня.

Ломились ветви.
Густо пахла хвоя.
Весенняя тоска была остра.
И пальцы, прорастая, как побеги,
тепла искали,
но не у костра.

Последний снег,
и первый день весенний,
и тонкий звон невидимых синиц,
и капли, с лап заснеженных свисая,
касаются то наших рук, то лиц...

1967

ТАК НЕ БЫВАЕТ...

Чтоб озеро тихо дышало у скал,
чтоб пристань и старые сваи,
чтоб здесь тебя к вечеру я отыскал,
хоть знаю: так не бывает.

И вставлена тонкой слюдой синева
в проёмы горы и в прорубы,
и мечутся птицами наши слова –
ловя их, поймаешь лишь губы.

И крики кедровки в кедровом бору...
О молодость наша вторая!
Я руку тревожной рукою беру,
хоть знаю: так не бывает.

1966

УПЛЫВАЕТ НА ЛЬДИНЕ...

Клочья синего снега на синем откосе.
Как девчонка ту синь на плечах переносит?

Как она эту глыбу весеннего ветра
держит в тихих ладонях, любовью согрета?

И совсем не страшится с оплавленной комки
прыгнуть в мир половодья, тревожный
и ломкий!

...Буду радостно-долго смотреть через годы
на снега и на льды, и на вешние воды.

И она в этой резкой и режущей сини
будет плыть сквозь судьбу на крошащейся
льдине.

1966

ПРОЩАНЬЕ

...Ты проснёшься уже за Уралом,
в обогретом, обжитом краю.
Я Уральский хребет, как кресало,
тебе с памятью отдаю.

Только чиркнешь кресалом о память –
и затлеют в заречье снега,
и завоет пуржистая заметь
в продувных прииртышских логах.

И душа моя дикою кошкой
подползёт к твоей тёплой ноге.
Взгляд её, от испуга сторожкий,
разгляди в непроглядной пурге.

Посади её тихо под шубу
и постой на моём ветру.
Так мне надо согреться... Я губы,
я глаза от снегов ототру.

Я тебя поманю издалёка –
приходи и не приходи...
Не замёрзну в студёном потоке,
если теплится память в груди.

Только ты не бросай кресало
и судьбу снеговую мою.
Вспоминай обо мне за Уралом,
вспоминай в своём тихом краю.

1966

* * *

Как мы хохотали!
Ни с чего, ни над чем.
Как избушка смеялась,
как печку смешило,
как улыбки и отсветы бились у стен –
всё кружилось и пело от праздничной силы!

Волосами, как пламенем, взгляд заслоня,
в землянике лесной,
в горьком духе полынном
ты вставала сплетенье теней и огня
и сквозь пальцы текла терпким дымом.

Головешки стреляли навылет сквозь нас –
мы легки и прозрачны, как запахи луга.

И по искре сырой покатилось из глаз.
Вот и всё.
Завтра мы потеряем друг друга.

1966

* * *

Спящий ребёнок
и дождь этот, сонно бубнящий,
весенние стрелы растений,
тугие кубышки бутонов
и брызги густых лепестков...

Как ладно всё соединилось!

Бутоны, ростки и ребёнок,
и сон дождевой –
все начала
земли
и земных превращений,
начала семян и судеб.

1973

* * *

Прихожу «проходить курс лечения»
ручейной водой, птичьим пением,
дрожью дыма над рыжим костром,
непогодным покоем под гром,
пестротою лесного веселия,
где пропарюсь в берёзовой прели я.

Пусть заспорит иной костоправ,
все лекарства мои оболгав.
Не оспорив права костоправа,
тихо скроюсь в деревьях и травах.

1965

* * *

Природа наивна, как ребёнок.
Она доверчиво принимает всё, что ей дают
взрослые,
она не думает о последствиях.

Она глотает дым автомобилей и заводов,
принимает сточные воды в свои реки
и нефть – в моря.

Она
заболевает по вине взрослых,
и её опустошенные земли, погибшие леса,
отравленные родники –
то же самое, что кашель ребёнка,
которому дали сигарету,
что язвы от ожогов на его руках, взявших огонь.

Человек, губящий природу,
не любит детей.
А тот, кто не любит детей,
умирает задолго до своей смерти,
потому что не хочет продолжения жизни.

1972

* * *

Два мира со мной.
Один я несу на плечах –
это дочь.
Она держится за моё ухо и за подбородок.
Другой – весенний лес вокруг нас.
Он обнимает ёлочной сыростью
и почти неуловимой горечью разбуженной берёзы.
Дочь – мир удивленья.
Лес – удивительный мир.

Мы долго идём по тропе.
Сначала дочь громко разговаривает, поёт, читает стишки,
дёргает меня за уши, за волосы, хохочет –
она видит одного меня и чувствует лишь
свою радость.

Потом она умолкает,
слышится её дыхание и посапывание,
подбородочек упирается мне в макушку.
– Уснула, что ль? – спрашиваю её.
– Нет, я посто молчу...
Поворачиваюсь к ней и вижу её глаза.
Я ждал сонных щёлок,
а у неё глаза распахнуты, и незнакомая серьёзность полнит их.
Она смотрит вокруг,
она забыла обо мне и о себе...
Она смотрит.
Впервые смотрит сама на лесной мир.
Я ни о чём больше не спрашиваю.

Мы идём по краю оврага, заросшего старыми елями.

Там, над моей головой – её глаза и её растущий мир,
её жизнь, удаляющаяся от меня.

Дочь впервые за свои два года так серьёзно сказала:
«Я просто молчу».

Сейчас там, в вышине, мир леса и мир дочери
соединяются,
и рождается удивлённая мысль маленького человека.
И вся наша Вселенная становится богаче.
И это чудо вершится над моей головой!

Вдруг она сжимает мой лоб руками и тихонько
говорит нараспев:
– Бел-ка... Бел-ка...
Я слышу её голос, но ещё не понимаю её,
мне кажется – она поёт это слово,
она не может сама увидеть белку –
ведь я тоже смотрю вокруг и не вижу белки...
– Белка,
белка,
белка! –
говорит дочь и за уши поворачивает мою голову.

И я вижу:
в корнях ели, на земле, шастает белочка.
Я останавливаюсь.
Мы смотрим на белку.
Просто смотрим на белку и просто молчим.

1972

ЗАКЛИНАНИЕ

Шаманий бубен, а не лёд озёрный.
Оскал костра – не облака заката.
И дни – пока не дни, а только зёрна,
которыми твоя судьба чревата.

Удар по бубну, в поднебесье выкинь
шального ритма рваный рык и рокот,
чтоб дрогнула под снегом кровь брусники,
из тьмы столетий грянул глас пророков!

И, продираясь дебрями, дырявя
закатный огнь судьбой своей безвестной,
ищи себя и выводи коряво
узор шаманий первозданной песни.

1971

НОЯБРЬ

На простуженном,
хриплом органе,
где трубы продырявлены лучами звёзд,
где лёд косыми иглами пальцы ранит,
где мёрзлые дороги легли вперехлёст –
играет ноябрь.

На бровях его иней,
в бороде его листья,
в глазах туман.
И мелодия
в далях зазвёздных стынет,
и во всём бесконечном осеннем мире –
одинокий ноябрь
и охрипший орган.

1959

ПОЛДЕНЬ

Низкий мир травы обточен солнцем
и заплавлен в слиток янтаря.
По стеблям, по листьям и по кронцам
соты света медленно горят.

Губчатую зелень пропитало
вязким гудом дремлющих шмелей,
и цветы оклеивает вяло
полуденный золотистый клей.

Бабочки уснули. Меж соцветий
пчёлы чуть бредут, отяжелев.
Повилика, сонно свесив плети,
смотрит, как зевает львиный зев.

Мудрая медлительность полудня.
В сердцевине сонной тишины
вызревают трепетно и трудно
семена для будущей весны.

1968

* * *

Резко пахнут акварелью
листья, сброшенные клёном,
травы, тронутые прелью,
вихри в воздухе студёном.

Соразмерил свет и краски
некий вдумчивый художник –
переливом желто-красным
оттенил леса и пожни.

Переходами сквозными
и прозрачностью осенней
он прорезал чьё-то имя
в сердце вянущих растений.

За густой прудовой ряской,
в серых облачных заплатах
с удивленьем и опаской
чей-то образ он запрятал.

Осторожно подойду я
по тропе лесного края,
паутинницу тугую
потихоньку отстраняя.

Из лесов и пожней выну,
отгадаю постепенно
губ горящую рябину
и волос пахучих сено.

1968

БЕРИНГОВО МОРЕ

Грань земли.
Голый камень ободран и сир.
Жгучим прохлестом ветра долины пробиты.
За Олюторским мысом кончается мир,
начинается хаос на море открытом.
Верх ли, низ?..
Берегись!
Ухватись за канат!
Проскочив мимо поручня, кверху ногами
полетишь...
Там борта от натуги звенят
и теряется голос в гуденье и гаме.
Вместо палубы – пена.
Крутым кулаком
океан, разъярясь, надаёт зуботычин...
В уши – вой,
в ноги – боль,
в сердце – кол,
в горло – ком...
И привычный корабль станет вдруг непривычен.
И привычной судьбы просмоленная нить
от натуги сама оборваться захочет.
Но судьба не проста:
ей взбредёт подарить
тебе новую жизнь, только чуть покороче.

И заклинится в память Олюторский мыс,
и ветрами по-волчьи обглоданный камень.
Там начало:
земля и вода разошлись,
с жизнью ты распрощался
и вновь родился в океане.

1969

* * *

Сядь вечером, зарёй оплавленным,
ударь кремень глухим кресалом,
чтоб прососало брёвна пламенем,
чтоб ельник дымом прососало!

Забьётся, загудит, забрызгает
родник огня из-под колоды –
он лето меж сугробов вызовет,
нарушив строгий ход природы.

И травы встанут на проталине...
Но всем им рано или поздно,
в снегу иль в розовой окалине,
дано сгореть или замёрзнуть.

А ты, согревшись и поужинав,
о судьбах трав не помышляя,
раздумьями и ношей груженный,
пойдёшь сквозь ночь лесного края.

1966

* * *

Сибирские дожди
над сотней километров
навесили намокшее крыло.
Запутались в степях косые ветры,
метлой дождей ударили в стекло.

Сидеть и слушать,
как бурчит спросонья
похлёбка
и в желтеющей куге
за дверью на болоте ветер стонет
и скачет дождик на одной ноге.

О этот дождь,
косой и одноногий,
прохожих поджидает за углом!
Ему подвластны долгие дороги,
и каждый день,
и каждый дым и дом.

Наверно, так,
неслышная для слуха,
невидимые чётки теребя,
приходит осень,
зябкая старуха
в сибирской шали ветра и дождя.

Алтай, 1947

ТИХИЕ ДАРЫ

Сбираю тихие дары
грибов, брусники и покоя.
Пора пришла,
а до поры
о них раздумывать не стоит.

Жизнь провела предельный круг,
где за чертою нет предела.
Деревья тянут сорок рук,
делясь листвою поределой.

Я милостыни не стыжусь.
Не зарекаюсь от лохмотьев.
Хочу, как бересклетов куст,
прикрыть прорехи тёплой плотью.

И лист, слетевший предо мной
с лещины на овражном склоне,
лежит заплатой золотой
на нищенском моём нейлоне.

1969

ЗЯБЛИК

На Урале зяблик прозвенел.
Он весну, как часики, натикал.
Вот и март остался не у дел
пред сияньем солнечного лика.

Зяблик был невидим,
но с петель
полетели двери небосвода,
выплеснулось солнце,
и капель
проторила путь весенним водам.

Зяблик был так мал,
как может быть
самая ничтожнейшая малость,
но апреля искристая нить
от его потяга размоталась.

Он сумел
пропеть слышней в сто крат
всех рогов зимы, хрипевших мрачно.
...И сосульки мокрые висят
продолженьем песенки прозрачной.

1971

* * *

В июне топим печь –
так ночи холодны.
Тепло трещат дрова под цокот соловьиный.
В окне лучится лёд восхода и луны,
и ночью длится день,
длиннее жизни длинной.

В июне
жар смолы и угля жар слышней.
И легче дышит печь,
и дышится легко мне.
И в кущах под окном
стреляет соловей
и пробивает тишь
сердец и тесных комнат.

1973

* * *

Земля ещё не создана –
есть замесь,
есть глина каолинных облаков,
есть каша первозданная покамест,
до вод и тверди
и до всяких слов.

Есть крылья самолёта,
есть ребристость
дрожащих алюминиевых жил,
есть солнце, даже зайчик серебристый,
но вместо мира
только хаос был.

И в хаосе
глашатаем свершений
плыл самолёт, сминая каолин.

И формовался мир
из светотеней,
из воздуха
и каши белых глин.

1967

МАЙ ХОЛОДНЫЙ

Зацветает ветла –
ветры вмиг налетают
растрепать, расклевать её клювами длинными.
Пронесёт мимо сёл их разбойничью стаю –
встанут вётлы к заборам
пустыми корзинами.

Ни пчеле, ни шмелю
поживиться здесь нечем:
всю пыльцу размело,
иссушило нектар.
Взяв пустые деревья на старые плечи,
одинокий просёлок бредёт на базар.

Покоробятся вёрсты просторов безлесых,
по обочинам вылезет колкий осот...
Весь в холодных дождях,
как в ряднинах белесых,
май
корзины
к осенним плодам бережёт.

1966

БАРХАТНАЯ ТИШИНА

Хочу на Уссури,
где бархатная тишина
среди зарослей бархата[1]
глухо лежит на снегах
и глаза белизной наливает до дна
взмах реки
и просторов раздольный размах.

Там заимка –
в сугробах избушка,
в ней печь
и часы,
и стеклянная гирька упала на стол...
Нужно печку
смолистой лучиной разжечь
и за пыльную цепь потянуть,
чтобы маятник, щёлкнув, пошёл.

А потом
взять ведро и –
на прорубь, к реке
через тишь побрести
и сдержать громкий шаг...
И тогда,
от избушки лесной вдалеке,
вдруг услышишь,
как маятник щёлкает в старых часах.

1971

[1] Амурский бархат – пробковое дерево.

* * *

Птицы сирин и феникс, и жар –
блекнут, крылья раскрылив одрябло...
Спозаранку синичий базар
на ветвях между праздничных яблонь.

Что за сказка –
услышать сквозь сон
за окном щебетливую свару!
Ты на целые сутки спасён
от пустой суеты и угара.

Мигом встанешь –
от сна ни следа,
зябко выйдешь в студёные сени.
И в ведре – ледяная вода,
и в душе – тишина предосенья.

Эта грустная радость синиц
заполняет весь мир без остатка.
И вселенские грани границ –
чуть вздохнёшь –
заколеблются шатко.

И доступна высокая тишь –
выше вер и чудесней поверья...

А под яблоней – как поглядишь –
перья сирина,
феникса перья.

1973

ДЕРЕВЬЯ

1

Путь дерева!
В суглинке по колено
и навсегда прикованное к почве,
оно в пути,
оно идёт бессменно,
оно в дороге днём и ночью.

Оно бредёт во времени по горло,
цепляясь сучьями за годы и века.
И листья – точно плащ, что бурями изодран,
и трещины коры – забытых слов строка.

Когда-нибудь,
в глубинах вёсен дымных,
оно придёт к окну неведомых домов,
чтоб, стукнув по стеклу прощально
и призывно,
напомнить людям
звук
давно забытых слов.

1959

2

Как саженцы тощи,
как хрупки
у яблоньки ветки и ствол.
Как грубы рогожи и руки,
как медленный заступ тяжёл.

Земля комковата.
Навозом
простелена яма...
Гляди:
посажена яблоня.
Грозы,
снега – всё ещё впереди.

Пускай понемногу вбирает
и горечь, и мёд бытия.
Едва ли покажется раем
ей трудная наша земля.

Но как-нибудь
раннею ранью,
почувствовав мудрость свою,
она станет древом познанья
в чьем-то шалашном раю.

1966

3

Неприютно деревьям
под ухватистым ветром,
зябко и знобко под зыбким дождём.
Спета песня листвы,
птичья песенка спета.
Осень тащит деревья под зимний ярем.

Упирайся теперь, не желай...
Через силу
повлечёт к декабрю, о ноябрь ободрав.
Что же это так осень взбесило
и озлобило против деревьев и трав?

Что ей толку
хлестать по расхристанным веткам,
для чего растрепалась ветла, как метла?
Почему это нужно –
так больно и едко
выжигать беззащитные листья дотла...

1969

4

Так борются деревья с мерзлотой:
опасливо поверху тянут корень,
не лезут вглубь,
один лишь тощий слой
зажат в их сморщенных ладонях.

Уныло встал у тундры
частокол...
По берегу, по сопкам, средь мочажин –
всю ветошь веток
ветер,
зол и гол,
прядёт
в сырые клочья зябкой пряжи.

В жестокой скудости обиженной земли
деревья
и безрадостны, и жалки.
Ни лесом стать, ни рощей не смогли
и робко держат слабые комли
стволы,
похожие на палки.

И кроется в их облике скупом,
в их контуре, отчёркнутом на дали,
вся жизнь,
и все борения со злом,
и всё тепло,
что Северу отдали.

1964

* * *

Ножи гладиолусов режут
сырой чернозём у крыльца.
Буравит весеннюю свежесть
скрипенье и клёкот скворца.

Истошен призыв петушиный,
и куры галдят, как базар.
Меж веток у самой вершины
запутался солнечный шар.

Ветловые почки навылет
стреляют зелёным огнём.
Весь мир этот налит и вылит
броженьем, заложенным в нём.

Стою удивлённый и квёлый,
разбитый нежданной весной.
Садятся на голову пчёлы
и греются вместе со мной.

1969

* * *

Последний снег белёс и жалок.
Почуяв года поворот,
он обнажил оскалы свалок
и бельма бурые болот.

Всё, скрытое под покрывалом,
что белизной слепило глаз,
теперь покрытья прорывало
и выпирало напоказ.

Выталкивалось безобразье,
чьи образы грязным-грязны...
И так вот, очищаясь грязью,
вставала чистота весны.

Она честней, смелей и чище
снегов, скрывающих порок.
И тёплый ветер в сучьях свищет,
сметая зиму за порог.

1971

ВОДА И ВЕТЕР

От ветра и воды нельзя вздохнуть.
Кои ветра и воды стоит у горла.
Косые струи, преграждая путь,
буравят землю, как стальные свёрла.

В зелёной бездне ветра и воды
деревья стали водорослью длинной.
И уплывают из-под ног следы,
наполненные серебром и глиной.

Не различить, где ветер, где вода –
гремящий столб сплошного водопада!
И молнии, вцепившись в провода,
бьют клювом землю раз по двадцать к ряду.

Сливаюсь с бурей, с ветром и водой –
всего лишь капля в ливневом разливе, –
а всё ж плыву, смеющийся и злой,
ломаю струи и впиваю ливень!

1952

ХОЛОДА ПРОБУЖДЕНЬЯ

Для дуба столь полезен холод,
что при раскрытии листов
мир вихрем ледяным пропорот
и в жилах рощи стынет кровь.

Продрогнут города и веси,
прозябнут злаки и зверьё,
пока дуЗбы листву развесят,
проверив холодом её.

Как будто погреба столетий
раскрылись в тот весенний миг,
и ветки эти, сучья эти
бессмертье
черпают из них.

1974

* * *

Родятся горы, глина и вода
и жадно, живо жмутся к сердцу ближе,
и сердце распускает невода
и хочет больше из вселенной выжать.

В нём тонко, тихо теплятся ростки
и чуть звенят, вытягиваясь в струны,
и прорастают камни,
и пески
плодятся на мохнатых дюнах.

В его сетях
созвездья и глаза
и шорохи, и шёпоты ночные...
Как будто
мир в тугой клубок связав,
одно лишь сердце создала стихия!

1964

* * *

Сады, как тугие корзины,
от ярости яблок трещат.
Антоновской силой глубинной
встревожен стареющий сад.
Сквозь доски,
сквозь жерди,
сквозь колья
медовая пряная брага
ударила в спелое поле,
и в дали,
и в донья оврагов.

И хочется пить её, впитывать,
вдыхать и вбирать без разбора,
тянуться губами открытыми
к корзинам осенних заборов.

1973

* * *

На картофельном поле
меж грядок раскисших и старой ботвы
загорелся, зацвёл, засиял
неизвестно откуда и как залетевший
осколок далёкого мира.

Он манил
рассмотреть, разглядеть, приобщиться
к тайне, им принесённой
из глубин мирозданья.

И к глазам мы его поднесли,
в мир далёкий его заглянули
и увидели
поле,
рязбрякшие мокрые грядки
и поблекшие плети неведомых странных
растений...

1971

ПОСЛУШАЙ ПУСТЫНЮ

Послушай пустыню.
Тишину её слушай.
Она
из безмолвия малых песчинок сложилась
в барханы.
Воздвигается к небу
великая тишина.
Странны лики её,
и уста неотверстые странны.

Тишина
в тишине,
тишиной занавесила тишь.
Лечь, сцепив под затылком усталые пальцы...
На песке в тишине
неподвижно паришь,
неподвижно бредёшь удивлённым скитальцем.

От песчинки к песчинке
свой след настороженный вей,
и услышишь,
когда по-осеннему воздух остынет:
из неслышных глубин
прикатит скарабей
плотный шар тишины
и оставит в пустыне.

Пустыня Кызылкум, 1969

МИГ ПЕРВОТРАВЬЯ

На карту хоть весь год поставь я,
не выиграю –
лучше нет
поры, когда из первотравья
крапива
просится в букет.

Ещё весенний день обманчив
и плотен войлок старых трав –
чуть выпростался одуванчик,
дернину старую взорвав.

И глаз тоскующий так алчет
средь неприметнейших примет
найти фиалочки фиальчик
и первоцвета первый цвет.

А у заборов, сникших криво –
как будто крик «Курилка жив!» –
кипит и буйствует крапива,
глаза к себе приворожив.

Эх, той поры не проморгайте –
мелькнёт, как миг – прощай-прости...
Хотя бы втайне пожелайте
букет крапивы принести.

1975

* * *

На Севере древней Европы.
Где Париж?
Где Москва?
Где Берлин?..
Только в тундре едва различимые тропы
и оленьи следы в горловинах долин.

И оленьи глаза.
Синева ли Урала,
от студёного моря слеза...
Сто веков
в них по капле всю мудрость вбирали,
сто веков им ждалось –
рассказать.

И рога.
Сто корон королевских в корале[1]!
Сто седых королей,
бросив сто государств,
прибежали сюда.
К их бокам звёзды пылью стальной прилипали,
их копыта окрасила тушью
ночная вода.
И обширность пространств,
где мерило – плечо континента,
где не хватит сполоха, чтоб выверить высь.

Там олени,
связав времена бесконечною лентой,
по урезу эпох и земель пронеслись.

[1] Кораль – загон для оленей.

...Леденится заря,
и от чума дымок тальниковый почуя,
и короны под звёзды подставив,
олени плывут.
Погляжу
и за ними
на вечном снегу я
вижу:
в даль из просторов азийских
к Европе – искрящийся путь.

Полярный Урал, 1965

ОБЛИК СТРАНСТВИЙ

Окончен путь в морском пространстве –
винт завершил последний взмах,
но остаётся облик странствий
на погнутых волной бортах.

И самолёт, пронзивший облако,
земли коснётся и замрёт,
но остаётся странствий облик
на крыльях, кончивших полёт.

Дойдёшь до ближнего колодца,
найдёшь себя через года...
И облик странствий
остаётся
в душе смятенной
навсегда.

1970









Книга четвертая

«МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КОРЕНЬ»

1983

ВЕРЕНИЦА СУДЕБ

Поколенье уходит.
Истончаются жизни.
Дни –
последними листьями с крон.
И трепещет душа
от бессилия вызнать,
чей черёд
в веренице имён.

А пожалуй,
не надо выпытывать тайну.
Ведь всегда в веренице
не этот,
так тот...
Или он, или ты
по законам печальным
в день осенний, как лист пожелтевший,
уйдёт.

Но продолжится жизнь,
и листва возродится,
соблюдая извечный всемирный закон,
и пребудет во веки веков
вереница –
вереница судеб,
вереница имён.

1982

ЗАПОВЕДНЫЕ ГОДЫ

У сердца заповедники свои,
в их дебрях
времена окаменели.
Там стрелы опадающей хвои
ещё летят,
не достигая цели.

Там травы
и тревожные цветы
в десятилетьях сохраняют свежесть.
Таким, как был,
меж них ступаешь ты.
То ж сердце у тебя
и помыслы всё те же...

Как ни лукавь, ни мудрствуй, ни глаголь –
чуть прорастёт воспоминаний стебель –
стирается далёких былей боль
и остаётся радостная небыль.

И ты сквозь заповедные боры
проходишь невесомо и незримо,
и, словно пар
от давней той поры,
всплывает
чьё-то медленное имя.

1977

ВОСПОМИНАНИЕ О ГОРОДЕ

Древний город, он искрится шпилями,
он струится старинной готикой,
затонул в океане времени,
как корабль, до самого клотика.

Если встать на рассвете сумрачном
и уйти под изогнутым парусом –
город по небу распластается
серым шёлком и чёрным гарусом.

Если выбрести по торфяникам
на равнину осенним вечером,
город вырастет лесом каменным,
высь распорет узором стрельчатым.

Через бешенство ветра и времени
он пронёс эту чёткость жёсткую.
Город бурь, город мрачных мыслителей,
и рабочих, пропахших извёсткою.

1947

КОЕ-ЧТО О ТВОРЧЕСТВЕ

«Изготовление искусственных цветов».
И проступает за рекламной фразой:
с природы совлечён
таинственный покров
и привлечён
практичный разум.

К чему леса, луга, роса и рань?
Здесь применили новую идею:
вот ландыш – прорезиненная ткань,
из мыла мастер давит орхидею.

Работают не разгибая спин,
без отклонений, точно по стандарту.
Всё учтено – и мыло, и сатин,
и всё занесено на перфокарту.

Но в этом производстве красоты
одно лишь ускользнуло от учёта –
что даже мёртвым
мёртвые цветы
скорбящие приносят с неохотой...

1977

НИТЬ ВЕЩЕЙ

Есть у вещей дремучая душа,
есть злой характер
и слепая сила.
Вещь входит в дом – и тяжело дышать,
и кров родной становится постылым.

Случалось, что ковры и хрустали
детей от матери со злобой отрывали
и побрякушки страшные вели
к злодейству,
в тюрьмы, в каторжные дали.

Но всё же
их ни в чём нельзя винить.
Мы на любом суде их не осудим,
хоть в глубине у них
таится нить,
ведущая в сердца и в души к людям.

1959

НЕЧТО О НУМИЗМАТИКЕ

Разбив мечом соху да борону,
пустивши по миру весь свет,
цари
с носами древних воронов
глядят с тускнеющих монет.

Заполнить собственной особою
свой медный мир им удалось.
И всё ж
насуплен взгляд
и злобою
заточен остро тяжкий нос.

Мерещится им:
вся вселенная
перечеканена в огне
и как монета неразменная
в монаршей спрятана мошне.

1983

ГРАБИТЕЛЬ ГРОБНИЦ

Громоздились гробницы –
гонор гордых гробов,
чтобы люди
по смерти царей
перед памятью падали ниц.
Но всегда
меж простершихся в прахе рабов
со змеиной улыбкой
таился грабитель гробниц.

Вот задвинуты входы гранитной скалой,
утрамбованы прочно курганы тяжёлой земли...
И тогда
он в ночи приходил, деловитый и злой.
Преклоненье и страх с ним на дело не шли.

Хитроумный и резкий,
не ставивший вечность ни в грош,
потрошил фараонские мумии,
скифских вождей потрошил,
и при свете луны совершал свой грабёж и делёж,
и в веках исчезал, все богатства пустив
на распыл.
Неизвестный,
неведомый,
некто,
ничтожней песчаной пыльцы,
он исчез,
но ведь после него
(как жестоко с живыми и мёртвыми он поступил!)
поклонялись пустым пирамидам рабы и жрецы,
и кочевники чтили пустые курганы в степи.

1971

МЕЖА

Этот звонкий золочёный волосок,
эту нить луча сквозного
подари,
когда сонно распускается восток,
когда мне
и на заре не до зари.

Протяну его по ёлочной резьбе,
через дни и через годы просквожу –
обозначит он и в мире, и в судьбе
только нам одним приметную межу.

1965

ПЕРЕУЛОК

Что за убогий переулок.
То вниз и вкривь,
то вверх и вкось.
Какой хулы среди охулок
ему наслушаться пришлось!

Домишки лесенкой, церквушка,
лабаз, ворот угрюмый свод...
Уж если не душа,
так д у ш к а
в окне с гераньками живёт.

Фонарь, облезлый тополь, тумбы;
в забор заплатою – кровать...
Коль плоски думы,
так без дум бы
век напролёт прокуковать.

Как неуютно и беспутно
в домишках этих
нам жилось.
Так почему ж
броженьем смутным
нежданно пронят я насквозь?

Как бы ища единоверца
в чужом краю,
в полубреду,
с забытым замираньем сердца
по переулочку
бреду.

1979

ДОЖДЬ НА ДОРОГЕ

Дождь редкий, струи точно жерди,
как покосившийся под ветром старый тын,
он сломан сзади,
искалечен спереди
толчками и ударами машин.

Дождь выщербленный, тощий, колченогий,
он ковыляет, словно инвалид,
и неумело
камни на дороге
от пыли очищает и скоблит.

Он моет загрязнившиеся скаты
и мокрой тряпкой водит по бортам.
Дождь, сбитый с ног, усталый и измятый,
настойчив и настырен, и упрям.

Он в верности слезливой так назойлив,
что против ополчился целый свет.
И лишь тогда
отравленный газойлем,
он, обессилев, падает в кювет.

1953

ДУШИ ДЕРЕВЬЕВ

Корявый ствол обратился в доски.
Распил в заусенцах и клочьях коры,
но рисунок слоёв, пронизавших плоскость,
от глаза людского теперь не скрыть!

Мастер только взглянул,
только тронул стамеской,
и прошла под рукой жизнь далёких краёв,
где дожди, сушь и ветер менялись резко
и деревьям клеймо оставляли своё.

Круто гнулись волокна,
как извилины мозга;
когда соки иссякли в земле скупой,
ствол сжимался,
и сучья хватали воздух,
и бугры вырастали под чёрной корой.

В годы влаги, туманов прозрачных и солнца
расправлялись тяжёлые мышцы ствола,
и янтарные соки по всем волоконцам
жизнью пьяная почва гнала.

Под ударами бурь,
под кинжалами молний
усложнялся рисунок древесных жил –
каждый выгиб жестокость природы помнил
и трудным своим бытием дорожил.

И теперь
обнажённые души деревьев,
чьи безвестные судьбы честны и чисты,
с полированных створок
в глаза ваши смотрят,
чтоб напомнить о трудных путях красоты.

1955

СКОРЛУПА СЕБЯЛЮБИЯ

Как это страшно –
быть затиснутым в скорлупу себялюбия
и не иметь даже смелости птенца,
проклёвывающего выход наружу.
Не видеть пёстрого мира,
наполненного чужими судьбами,
не понимать голосов птиц, листьев, людей...
Как это страшно –
окружиться самим собой,
одеться в себя самого,
приукраситься самим собой.
И прислушиваться только к своей речи,
к работе собственного желудка, сердца, головы,
к покалываниям и побаливаниям...
Майский ливень с молниями,
наполняющий мир неистовым светом,
горечью тополей и травы –
всего лишь опасность промокнуть.
Февральская метель,
пробивающая простор колючей белизной,
снежные костры на крышах –
лишь повод, чтоб не выходить на улицу.
Человек, говорящий о дожде и метели, как о чуде –
чудной чудак.
И эту скорлупу себялюбия
нельзя пробить ни дождём, ни метелью,
ни словом.
Её нельзя пробить снаружи ничем.
Её можно пробить только изнутри.
Но для этого
надо иметь хотя бы
смелость птенца.

1971

ЭТОТ ДЕНЬ

День был замешан на лучах,
на листьях и тумане.
В высоких голубых печах
он пёкся ранней ранью.

Вот он готов, и можно взять,
впивать, вдыхать и слушать...
Вострите уши и глаза,
распахивайте души!

Дивитесь лесом и листом,
Вселенной и крупицей –
день этот никогда потом
не сможет повториться.

1959

ПОСТУПЬ ЛЮБВИ

1

В берёзах
свежим нахлёстом –
зелёная метель,
ворота влажных веток
срываются с петель!

В пролёт – навылет лихо
бьёт ливень листья влёт,
и кожура от почек
жуками в синь плывёт.

И прядь волос,
как молния –
через лицо стрелой,
и губы,
как зарницы,
сулят июльский зной.

В глазах твоих прикрытых –
зелёная вода.
Ты вязким вкусом листьев
проникла навсегда.

Зачем же машешь веткой –
не надо, не маши.
Останься каплей ливня
на донышке души...

Уж, кажется, забвенье
ту рощу замело,

а всё ещё мелькает
зелёное крыло.

1966

2

Был хворост,
и запах весенней земли,
и прозелень веток над нами...

Тот хворост
в тугие плетни заплели,
и нас разделили плетнями.

А хворост был мягок...
И ярок был день,
шмелями гудящий упруго.

Как мог этот хворост завиться в плетень
и нас отделить друг от друга?

Зажечь бы его на прощанье костром,
спалить, позабывши про жалость,
чтоб ломкие угли хрустели потом
и в углях трава пробивалась.

1966

СЕНТЯБРЬ

Не мог
за локоть даже
тронуть,
шаги ловил движеньем глаз.
И под ноги попавший
жёлудь
как сердце
ёкал всякий раз.

Был дуб.
Сентябрь
тянулся веткой,
неся не жёлуди –
сердца.
Неловки были мы, не метки,
хотели по житейской сметке,
с порога радость отрицать:
не время,
не судьба,
не место,
не возраст,
не и не, и не...

Кричали: «Тили-тили-тесто!»
синицы в синей вышине.

1983

КАПЛЯ ЛЕТА

Лето льётся из тонкого горла цветка
и из птичьего горла,
тонкой струйкой течёт,
и родятся потом облака,
и густеют леса,
и возносятся горы.

И лукаво, и ломко
улыбка скользит по губам.
Красота, словно капля смолы, напоённая летом,
протянулась по хвое сухой, по лугам
и сквозь сердце прошла,
недосказана и недопета.

Недосказанность – странный удел.
Эта горечь её
в стебле трав и в смоле, и в судьбе...
Эта горечь
есть во всяком,
кто ломкой улыбкой владел
и, предчувствуя радость, наткнулся на горе.

Будут стебли
и горы,
и горло цветка
не устанет струить уходящее лето.
И проглянет улыбка,
легка и ломка,
и растает в малиновой чаше рассвета.

1965

ПАМЯТЬ

Забыл слова, забыл напев я,
забыл твой голос и наряд.
И только древние деревья
обличье давнее хранят.

И оказавшись у стволов их,
как бы во сне опять живу
напевом, обликом и словом,
что здесь звучали наяву.

1971

ГОРДЯЧКА

Колечко – в колодец,
серёжки – в реку,
алеет платок на корявом суку...

Пошла поперёк, не хотела поладить.
Ни ладу,
ни сладу,
ни сада в ограде.

И дом опустел,
и не топится печка.

Серёжки – в реке, и в колодце колечко.

1971

ДНИ ПРОШЛЫЕ

Под утро дождь.
Конец.
Упало лето –
на глине поскользнулось, ослабев.
Ты,
в незнакомый плащ переодета,
идёшь в глуби изодранных дерев.

За прорезью листвы
так смутно и так робко
прочёркнут контур зябкого плаща.
Дни прошлые
в осенней тёмной топке
намокшими поленьями трещат.

От их огня
душе всё бесприютней,
всё резче ветра пасмурный разбег.
Играет осень на старинной лютне,
где снег, как струны,
словно струны –
снег.

1964

ПРОДОЛЖЕНИЯ

Продолжение ласки,
продолжение взгляда,
продолжение рук, обнимающих плечи,
продолжение всех продолжений –
тревожная наша отрада,
наше сердце вне нас,
долгожданный,
нежданно-негаданный человечек!

Продолжение притяженья,
ломающего расстоянья,
чтобы слить воедино
и плотскую радость,
и души.
Остаются в ребёнке лишь встречи,
в нём нет расставанья,
он и сам
словно встреча с далёким грядущим.

Продолжаемся в нём,
с ним идём к недоступным пределам
и себя отдаём продолженьям его продолжений,
чтоб сквозь толщу столетий смотрели глаза
и ликующим телом
утверждался в веках
продолжения вечного гений!

1970

МОСТ И ЗВЁЗДЫ

На путях мороз ещё свирепей...
Где рогатится железный мост –
кажется, скрипят стальные скрепы
и трещит ночная клёпка звёзд.

А на рельсах,
как на полосах от полюса,
в жухлом свете худосочных фонарей,
кто там от морозной жижи скроется,
кто в ней не промокнет до костей!

За Каргат ли,
за Чулым ли,
в Захолустное
как приедешь через тридевять земель,
выйдешь в кирзовых да в ватничке захлюстанном –
разом выбьет из-под кепки тёплый хмель.

Эх и выпляшешь чечётку требуховую,
кулаки до плеч затиснув в рукава!
Млечный Путь над головой – стальной подковою,
и в стальной подкове голова.

Эти станции с названьями нелепыми!
Как подстёгнут ветром бешеный мороз!

И скрипят мосты стальными скрепами,
и трещит ночная клёпка звёзд.

1966

ВОЗЛЕ СПЯЩЕГО СЫНА В ПАРКЕ

По солнечным часам определяю время,
по зелени медлительных теней,
по линиям вечерней теоремы...
Нет проще ничего и нет сложней.

И жизнь, и свет слабеют на излёте,
но есть отрада –
в толчее недель
с живою каплей мной рождённой плоти
на двух лучах подвесить колыбель.

Меж вязами,
как между временами,
среди тревог и трав, дубов и дум –
лицо ребёнка во вселенской раме –
росток судьбы.
Но где судьбы ведун?..

Я сам как эти древние деревья:
нам не увидеть зрелости ростков.
Здесь, у корней натруженных присев, я
прови́денья ищу
в глуби стволов и слов.

Как линии длинны,
как неподвластно время!
Но некого винить –
я всё затеял сам...

Вот только бы,
взглянув сквозь ветки и коренья,
судьбу определить
по солнечным часам...

1977

СНЕГ В СЕНТЯБРЕ

Снег в сентябре!
Сухо снежинки по листьям стучат –
сначала чуть слышно,
а после всё громче и звонче.
Снежные пряди мохнатятся,
вьются тесней и плотнее.
В саду потемнело,
забора не видно.

Под яблоней с сыном укрылись,
он на цыпочки встал,
тянется и срывает с трудом
красное крепкое яблоко;
сочно кусает холодную мякоть,
поднимает к небу лицо
и не без робости, словно великану,
говорит:
– Снег, снег, спасибо за яблочко!

1977

ПОСЛЕ ПУРГИ

Заторосило реку,
перепахало –
льдины дыбом, переломаны и грубы.
Накромсало,
набросало как попало
то ли стёкла,
то ли доски,
то ли судьбы.

Накорёжило ветрами, накрутило,
перебило, точно звонкие баклуши,
зализало зябким снегом, словно илом,
то ли лодки,
то ли вёсла,
то ли души.

И по холоду тревожного простора
так и тянет, и влечёт по снежной соли
к солнечным береговым узорам
не меня ли,
не тебя ли,
не его ли?

На серёдке ветреной стремнины,
у распутий бесконечных на серёдке
вытянулись вдоль речной долины
наши судьбы,
наши души,
наши лодки.

1968

* * *

Ивняк у обочин
прострочен
стежками серебряных почек.
Сегодня
лесная швея
намётку нарядов готовит,
и самое долгое дело –
ей выкроить
первый листочек.

1983

* * *

Теряет зима
то слезу, то сосульку.
Весеннее око –
во весь окоём.
И зяблик свистит в ледяную свистульку,
что быль холодов
порастает быльём.

Обширны снега,
и морозит ночами...
Но утром
всё явственней слышится нам,
как ветер весенний поводит плечами
и шуба зимы
раздаётся по швам.

1982

СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА

Метель...
И мельница на голом склоне.
Когда-то
эти крылья
ловили ветер с радостью и стоном,
чтоб зёрна, привезённые с полей,
разбить в муку
и хлебным благодушьем
насытить ненасытный дух людей.

И ветер был почтителен –
он плавно,
как в хороводе, мельницу кружил.
Далёкий ветер,
ветер давний...

Теперь метель.
Теперь снега.
Теперь
она стоит до пояса в сугробе,
и бьётся на петле
расщепленная дверь.

Заклиненные крылья недвижимы,
их перья вырваны,
в них бью со всех сторон
стальные
снежные
пружины.

И в щели между брёвен,
в гниль пазов,
на жёрнов лопнувший

летит мука...
из снежных облаков.

Насмешки горше нет
для мельницы,
кормившей целый свет.

Вот так она стоит, согнувшись,
у вершины
и смотрит вниз,
а там
через метель
по чёрному шоссе
муку везут машины.

1965

КОСТРИЩА

Кострища прежних встреч
в чащобах нахожу.
Кто смог,
кто смел, кто взялся
те угли уберечь?

Неужто для земли
священней, чем для нас,
былого пепла тайнопись,
горелых сучьев сказ?..

Кора листвы осенней
на землю наросла.
Разлукам и разладам,
размолвкам и раздорам
есть повод
и есть довод,
нет смысла,
нет числа.

И всё же
затаились
кострища
средь чащоб.
И, как бывало, белки
там цокают на ёлках
и за сердце хватает
далёких зорь озноб.

1975

КАПЛЯ

Река – мозаика живая
из камня,
из воды
и света –
мешая краски, линии ломая,
смелее мастеров творит картину лета:
извилистые пятна и разрезы,
мерцанье ряби
и литьё волны;
вдали
пластины ржавого железа
оправлены в янтарь
и в мох заплетены;
у берега,
как мятый шёлк и шкуры,
свернулось отражение лесов;
на середине
клин зелёно-бурый:
узор травы, песка и облаков;
за мелями
на чёрных струях
застыла вязь плотов,
и впаян в дым буксир;
и отраженье сокола,
тоскуя,
из облаков летит в подводный мир.
На мостике буксира – девушка.
Рябиной
горит и плещет платье с высоты,
и отсвет падает на воду каплей длинной,
звенящей каплей новой красоты.

1961

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КОРЕНЬ

В заповедных глубинах,
в чащобах,
глухим непролазьем затворен,
вызревает игольчатый куст –
можжевеловый корень.

Привереда и скрытень, причудник...
На мху белобрысом
он один утвердился
полунощным кипарисом.

В паутинах и ягодах сизых
зелёные перья.
И повадка его, и посадка –
то птичья, то зверья.

Продирается он
через лета и зимы,
бредёт сквозь столетья –
ловит время,
сгребает колючею сетью.

И таит в тесных кольцах ствола
судьбы древних и дрёмных урочищ.

Их найдёшь, и откроешь,
и вызнаешь,
если только захочешь.

1976

ПРОХОДЯ ВДОЛЬ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ...

Вулканы Курильской гряды!
Эти конусы над океаном!
Сотворение мира.
Земли зарожденье из вод.
Утверждение света, когда на рассвете багряном
из лучей и туманов
сплетается небосвод.
Появление рыб и моржей,
и китов жернова под водою,
осьминожьи глаза,
нереальные ткани медуз...
Покрывала пучин их покажут и скроют,
но пребудет всегда их безмолвный союз!
Выпорх птиц.
Топорка красноклювый фонарик,
мешанина ныряющих глупышей,
прочерк чаек...
Всё создано разом, в ударе
и пребудет всегда
на груди океанских зыбей.

Всё возникло.
Есть где разгуляться
и солнцу,
и тучам.
И к познанию тайны
легла потаённая нить:
мир возник в океанском твориле могучем,
Бог отсюда
решил многоликость мирскую вершить.

Охотское море, 1967

РОЗА ПОЛЯРНЫХ ВЕТРОВ

Хочешь
розу полярных ветров,
белоснежную,
звонкую,
дальнюю?..
Резок
хмурый день,
хлёстко бьют лепестки её с пасмурных облаков
то дождём,
то снегами,
то жгучим железом!
Хочешь розу,
как разум
в крутящемся вихре дорог,
как бесстрастие компаса
в поисках страстных?
Я нашёл её
и от ветров передрог,
от лепестков её жёстких спасаясь напрасно.
Вот несу её.
Вёрсты свернулись в кольцо.
Звёзды спят в кулаке синей пылью.
Старый Север,
он сжался гагарьим яйцом,
затаив под скорлупкой морозные крылья.
Раздвигаются двери созвездий и льдов.
Люди шли сквозь простор,
а идут через память.
И суровая роза полярных ветров
обдирает лицо
ледяными шипами.

1965

ОСЫ ОСЕНИ

На яблоках,
около мёда,
на липких натёках варенья
полосатеют тощие осы.
Им – последнее объеденье,
а нам грусть –
это осень.

Осы –
острые злые шипы
на розах арбузов.
Осы –
цепкие ости
на пряных ковригах.
Не мёдом единым
обильное время огрузло,
есть в нём жало и желчь,
есть мучение сладкого мига.

Не прогнать, не изгнать, не избыть, не избавить
от ярма этой ярости жёлтополосой...
Чуть потянешься к мёду,
к невинной забаве –
руку ранят
осколками острыми
осы.

1972

УТРЕННИЙ ИНЕЙ

В чащобах утренних простыну я,
чтоб только посмотреть, как в ряд
на пнях, фарфоровых от инея,
грибы стеклянные сидят.

И в дуновенье, мною вызванном,
потоньше горлышка синиц,
они поют хрустальным вызвоном
и голоском вязальных спиц.

До них дотронешься – сломаются,
дохнёшь – повиснут как тряпьё.
И только взглядом прикасается
к ним удивление моё.

1969

ОЗЁРА

Продудела чайка на капризной дудке.
Сочными ломтями острова на глади.
Изодрал одежду, истрепал обутки.
Впереди – озёра,
непролазье сзади.

Падаю на камни,
синий сок озёрный
втягивают губы жадно, до захлёба.
Как простор, как влага –
выкрик чайки вздорной.
А в затылок смотрит хваткая чащоба.

1969

ЖИМОЛОСТЬ

С палочкой-копалочкой
сохлый старичок
через рощу галочью
поволокся в лог.

Волчье лыко, жимолость,
горькие грибы...
Набралось ли, выбралось
там, в конце судьбы...

Серьги бересклетовы
и уста рябин –
песнями пропетыми
на краю годин.

Палочка откинулась,
ветер поднялся.
Скрылась жизнь, как жимолость,
в тёмные леса.

1972

ОСЕНЬ

Бузину да волчьи ягоды
с бересклетом и рябиной,
вздохи тяжкие и тяготы
собрала в подол ряднинный.

Всё загрёбистей, убористей,
устали не замечая,
нахватала горьких горестей,
белены да молочая.

И, как есть, не принаряжена
ни в обычье, ни в обличье,
потащила чрез овражины,
через посвисты синичьи.

И в котёл осенних месяцев,
поворчав, кулём свалила,
и глядит, как буйно бесится
злого зелья злая сила.

1971

КУПИТЕ ЧТО ХОТИТЕ...

Купите что хотите – чреда вещей пестра!
Купил бы тень
от дыма осеннего костра...

Отправлюсь вдоль прилавка.
Меж ярмарочных лиц
почудился бубенчик зарянок и синиц.

На вешалках,
где шубы искусственных мехов,
попробуй обойми-ка объёмы облаков!

Стеклянные разломы стаканов и зеркал
сомкнутся и напомнят нетронутый Байкал...

Доказывать не стану (что может быть тощей!)
ненужность самых нужных прилавочных вещей,
незрячесть самых зрячих и деловитых глаз,
безжизненность житейских привычек и прикрас.

1971

В СТАРОМ КОЛОМЕНСКОМ ПОД СЕНЬЮ...

Здесь дуб
из времён Иоанна Четвертого
корячится,
кажет кривые наросты...
Как будто Малюта
на дыбе вывёртывал
все сучья и жилы, все листья и кости...

И цену крутую познав выживания,
он птиц привечает и щедр на убранство...
Но как запоздалы
ростки его ранние,
как скупо и трудно он делит пространство!

Вершок за вершком –
в глубину сокровенную,
в разгул грозовой и в безмолвие света...
Он миром зелёным
врастал во вселенную,
и жёлуди
звёздами падали с веток.

Сквозил между туч и светил, и движения
времён, уводящих в ночные глубины,
привязчивый погляд
лихого безвременья,
по-сычьи следящий за жизнью невинной.

Столетья
у грани всечастной погибели...
Но в каждом мгновенье
он жив постоянством:

весна ль расцветила,
мороз ли повыбелил –
он птиц привечает и щедр на убранство.

1978

СУЩЕЕ

В кругах земных,
где судьбы вихрем вертит,
есть дело жизни
и есть дело смерти.

И человеку
в гонке обалделой
дано вершить
два этих вечных дела.

И сущее,
куда его ни втисни,
предстанет делом
смерти
или
жизни.

1972

ВРЕМЯ

1

Так-так...
туда... сюда...
Размах убог,
и шаг часов ничтожен!
Часами не измерить никогда
ход Времени –
не из минут он сложен.
Колёса,
стрелки,
циферблат...
Не то!
У Времени совсем другая поступь!
Росток,
бутон,
и вот уж лепесток
луч солнца ищет,
как слепой, на ощупь.
Цветок опал,
упал семян посев,
и вновь
росток спешит навстречу лету.
И ты,
на землю перед ним присев,
увидишь
круг,
прочерченный планетой.

1952

2

Ты знаешь, как годы проходят сквозь пальцы:
недели –
стекляшки рассыпанных бус,
и дни,
как случайные постояльцы,
как звуки, без смысла слетевшие с уст.

И вот наступает пора спохватиться,
мгновенья до капли зажать в кулаке...
Нельзя, чтобы время текло!
Пусть сочится,
пусть отсвет скупой оставляет на лицах
и жилкой укора
стучится в виске.

1960

ПРАЗДНИК ТИШИНЫ

Великий праздник тишины,
безмолвный пир,
где облака подъемлют
братины медленного синего вина,
где хор берёз высоко и неслышно
прозрачность величальную поёт,
а ельники замшелыми басами
о тихой тени подпевают в лад.

И даже одинокая синица,
что голоском, как шилом, проколола
тишайшую осеннюю слюду,
не нарушает праздника безмолвья.

Кузнечик, отогревшийся на солнце,
трещит в свою охрипшую трещотку –
один на весь глушмя оглохший мир.
Но разве мир такую мелочь слышит...

Пир тишины расхлёстнут с поднебесья
до мшарников, приникших ниже трав.

Отрадно мне прийти неприглашённым
и встретить доброхотное вниманье,
и голову безмолвием налив,
поднять своею братиной заздравной
на празднике великой тишины.

1969

ВЕШКИ ВЕСНЫ

ЧАСЫ ВЕСНЫ

Пружины трав заведены
тревожно и упруго.
Спешат вперёд
часы весны,
часы полей и плуга,
часы зачатий и начал
людей, зверей и злаков...
Часы, где я не отличал
полдневный свет от мрака.
Где жизнь вбирала целый век,
вмещаясь в одночасье,
и лес качало, как ковчег,
весеннее ненастье.
Тревожный сумрак наставал,
и в поросли смятенной
меня
дорогою начал
влачило по вселенной.

1972

ЧЕРЁМУХОВЫЙ ПАРУС

Безветрием надут черёмуховый парус.
На речках и ручьях
сто кораблей.
И волны горечи бесшумно расплескались,
и брызги звёзд висят между ветвей.

Весенней силой мачты ломит.
Цепи
листвы и трав не сдержат якоря –
все корабли сорвутся
и сквозь крепи
уйдут в черёмуховые моря.

Тишайшая, невидимая буря.
Ни шороха –
ни с леса,
ни с полей.
И только сердце слышит,
как срывает
сквозные паруса у кораблей!

1964

СВЕЖЕСТЬ ЯБЛОНЬ

Заварилось варево утренних садов –
крупчаты и крапчаты крепкие бутоны.
В яблоневых жилах
круто бродит кровь,
прогревая дерево от корней до кроны.

В кашу эту пряную с разбега занырнуть,
плавать – не наплаваться,

дышать – не надышаться,
раствориться в цветени, растворивши грудь,
и смотреть,
как пчёлы на плечо садятся.

1975

ЖАВОРОНОК

Воронки высверлены светом
в снегу ржавелом и зернистом –
по ним тепло стекает в землю,
в них луч звенит шальным монистом.

И цедится по капле в сердце
чудес весенних ожиданье,
вплетаются в глаза и жилы
вязь вязов и берёз вязанье.

В полях скопились пёстрым скопом
и проталень, и ржа воронок...
Над ними, захлебнувшись солнцем,
повис весенним колокольцем
невидный в небе
жаворонок.

1965

ТЕПЛОТА ВЧЕРАШНЯЯ

На пашне – яблонь лепестки,
на первозданных комьях – чудо.
Прощальный взмах твоей руки –
весны последняя причуда.

Всё возвращается к земле,
к её пластам животворящим.
От давних вёсен разомлев,
мы лепестки по пашне тащим.

Отставший от костра огонь
отходит к теплоте вчерашней.

И вот уже твоя ладонь,
как лепесток за свежей пашней.

1970

ВОДА, ЯБЛОНИ И ЗВЁЗДЫ

По колено яблони в воде,
а кусты в воде стоят по плечи,
и на каждой ветке
по звезде,
и стволы, как стеариновые свечи.

Скоро вспыхнут,
разлетятся,
разгорятся на ветру,
слижут звёзды,
снижут бусы
из тяжёлой плоти яблок –
эти яблони,
проснувшиеся рано поутру,
эти свечи,
в яром пламени склонившиеся набок.

Пропадай, моя телега,
все четыре колеса!
По просёлкам,
по колдобинам,
по клеверному лугу
я поеду,
чтобы яблоки
ладонью поласкать,
полукружьями медовыми
прижатые друг к другу.

1965

ВЕСЕННЯЯ ЖИВНОСТЬ

В берёзовой бледно-зелёной прозрачности –
прокрики дятла.
Равнодушный голос кукушки вдали.
Звон, бормотанье, трель, посвист всей лесной мелочи.
Грустный, отрешённый перелив иволги.
Таинственное, непонятно откуда, завыванье бекаса.
В овраге у ручья, где остро и душно пахнет
потревоженная крапива –
мохнатое гуденье шерстяных шмелей.
Вечером сквозь дурманные облака черёмухи –
металлический скрежет и рык лягушек,
до краёв наполняющий долину.
Солнце скатилось.
Небо совсем светлое и высокое,
с ненужной луной посредине,
и под луной над густой зеленью овса –
по-дневному захлёбистые жаворонки.
И тут же, у края поля, в ольховнике,
в приречных кущах,
зацокали,
зачмокали,
забулькали,
затрещали,
засосали
соловьи.
Вдали по краю неба
неслышно скользит громадный лайнер.
Или он слишком далеко,
или звуки весны громче грома турбин?

Или, может быть,
уже удалось примирить
летающих, плавающих, катящихся
механических чудовищ
со шмелями, лягушками и соловьями?..

1971

КОСЬБА

Старуха точит косу
в бессонницу,
пока
рассвет мутноволосый
проглянет в облаках.
Старуха косу точит
щербатым оселком,
и тени трудной ночи
таятся под платком.
И, волосы поправив,
седые, как рассвет,
идёт по тусклым травам
до пояса в росе.
Потом, верёвку бросив
и подоткнув подол,
окашивает косо
кочкарый суходол.
И умирают травы
во здравие коров.
И росный сок отавы,
как зоревая кровь.
И пар
душой невинной
восходит тихо ввысь,
и берегут калины
испуганную мысль...
Среди рассветных теней
удел старухе дан –
глухой судьбой растений
брести через туман.

1973

ТАИНСТВО ВСЕЛЕНСКОЕ

В зелёном смутном таинстве дождя
шевелится,
и кружится,
и тайно
рождается, все грани перейдя,
весна листвы
и шёпотов случайных.
Так трудно
корни из густой земли
вбирают влагу.
Пальцы их корявы,
но через них
в тугую высь ушли
стволы
и протянулись травы.
О таинство вселенское!
Скрывай,
прячь в мокром пологе рожденье и цветенье,
неси в зелёном чреве синий май
и радостно расти ростки растений!

1965









Книга пятая

«СОН О ПТИЦЕ»

1996

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

Охватило зелёным огнём
боковины окрестных оврагов.
Коль дожили, теперь проживём
всю весну
не в печаль, а во благо.

Счастьем выскочит щуплый щавель.
Одуванчик –
весь горечь и свежесть –
мигом
в ряд беспредельных недель
росчерк радости
радостно врежет.

Детский голос
и женский каприз –
всё по-новому в днях обновлённых.
Это праздник языческий
вниз
покатился по тёплому склону.

Есть Ярило, и ветер, и ты –
мера мира и мера порядка.
Скинь ярмо суеты-маеты
и в весне растворись без остатка.

И в просторы ожившей души
возвратится языческий идол –
ведовство вековое вершить,
облегчая планеты планиду.

1982

I. КОВЧЕГ

* * *

Кате

Был дом, как ёлочный фонарь,
светился золотом сусальным.
И тёк расплавленный янтарь
из окон в снег, из снега в тайну.
А тайна затаилась в том,
что этот ёлочный светильник
своим надтреснутым стеклом
сто лет светил в житейской стыни.
Ломались дни и времена,
раскалывались государства...
А дом и свет, и тишина,
дарили людям вечный дар свой.
И крыша в позолоте мха,
и стены в вязи древоточцев
скорлупкой плыли сквозь века,
сквозь бури праха и пророчеств.
И те, кто бури затевал,
чьи руки вал судеб вращали,
пройдя через девятый вал,
к скорлупке дома возвращались.
Металась жизнь и вниз, и вверх,
Но все круженья и стремленья
не доставали до застрех,
до печки, где цвели поленья.
Не чудо ль это? Дом повис
на тонких нитях снегопада...
Разбилось Время о карниз,
и перья кружатся по саду.

1968

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ НИТЬ

Вот и пришёл к последней грани,
где небо приросло к земле.
Все знаю, что судьба сварганит,
клонясь к хвале, кренясь к хуле.
Уж нет ни в чём томящей тайны...
Так жизнь благоволит ко мне:
краплёной картою игральной
зажаты годы в пятерне.
И как механика простая,
как стих, что пет и перепет,
нехитрой цепью провисает
сцепление людей и лет.
И примитивность отношений
так очевидна и плоска,
что страха нет – сгореть в геенне
из-за житейского куска.
О сколько разностей сплелося!
Но все сплетенья
видит глаз;
и все пружины, все колёса
бесстыдно лезут напоказ.
И в этой оргии печальной
так жаждет сердце
сохранить
хотя б одной томящей тайны
непредсказуемую нить...

1978

КТО ОН?

Что за старик
там в зеркале проплыл?
Знакомая фигура и одежда,
знакомый взмах
неповторимых крыл,
и лиру
он в руках сжимает нежно.
Ветха рубашка – сечься начала.
И шевелюра сильно поредела.
Но виден нимб
вокруг его чела,
и взор
нацелен в горние пределы.
Вы говорите, знаете его?
Не надо, бросьте, не несите чушь-то!
Я тоже вижу – глаз мой ого-го!..
Похож? Возможно.
Кто же он?
Неужто...

1986

* * *

Всё шатко –
судьба до сих пор не окрепла.
Непрочен мой дом,
ненадежны затворы.
И стены – из ветра,
и крыша – из пепла,
и вороны в окнах,
а может быть – воры.
В осенней юдоли, где палые листья,
всё ниже,
скуднее
днюю и ночую.
Нигде не изведав далекую высь
я
давно уж
низины печальные чую.
Мятусь по оврагам,
по слякотной сыри.
Неласков мой путь и огонь мой не светел.
Кого бы спросить,
может, издавна в мире
нет крова, прочнее,
чем ветер
и пепел?..

1974

ПОСЛЕДНЯЯ РАДОСТЬ

Задышала душа –
вдруг в отдушину
чуть дохнуло давнишней весной.
Как отраден ей, полузадушенной,
тот намёк на весенний настой...
Это всё, что для радости надо нам:
лишь несчастья слегка приглуши.
Взгляд нежданный
с улыбкой негаданной –
вот и праздник для бедной души.
Вы её не жалейте, а жалуйте,
проливайте бальзам и елей,
потакайте, потворствуйте, балуйте,
помогайте, пекитесь о ней.
Режьте прорезь в судьбе и во времени,
чтоб душа надышалась сполна.
Ей последние годы отмерены
и последняя радость дана.

1986

ЗАПОЗДАЛОЕ СООБРАЖЕНИЕ

Всё вдруг взялось,
не ожидалось...
И вот теперь не побороть
и эти старческие руки,
и эту немощную плоть...
А было можно –
ловким ходом
на шахматном коне
вильнуть
и выбрать путь иной сквозь время –
для старости невластный путь.
Найти в глубинах
скрытый выпорх
за грань, где время – лишь фантом,
где совместились
вход и выход,
башка коня
с его хвостом.

1994

* * *

Где только можно опоздать,
я опоздал вполне.
Где только можно проиграть,
я проиграл вдвойне.
Бывал частенько в дураках,
виновным без вины.
Взамен удачи – прах и крах
мне были суждены.
На дело, что иным – пустяк
я тратил уйму сил...
Но никогда, нигде, никак
завистником не слыл.
И оставался не у дел,
и падал в грязь лицом...
Но никогда, никак, нигде
я не был подлецом.
Не лез, не рвался, не кричал...
И вот однажды мне подумалось:
я проиграл,
но выиграл вдвойне.

1984

ЗНАЮ ВАС, НЕВЕДОМЫХ...

Актёры бесталанные затерянных театров,
ненужные писатели мелькнувших где-то
книг,
безликие художники с непризнанных
монмартров,
судьбою неприкаянной я к вам давно
приник.
Пью ваше мутное вино
и на душе так мутно.
Всех знаю вас, неведомых,
хоть вижу первый раз.
Мои пути,
как ни крути,
кончаются беспутно
недалеко от тех концов, что ожидают вас.

1978

* * *

Я вылетел в трубу,
хотя уже прошёл
огонь
и океан,
и медные горнила.
Бывало плохо мне,
случалось хорошо...
Но всё это теперь
лишь было, было, было...
Когда летишь в трубу,
тогда и боль, и бред,
любой недуг и стон,
отрадны, как спасенье.
Ведь нет в трубе ни слёз, ни горечи, ни бед –
в ней сумрачно гудит
жестокое забвенье.
Я вылетел в трубу,
проститься не успев,
не разобравши лиц,
не разглядевши мира.
Хотя бы всхлип один,
хотя б один напев
мне унести с собой,
чтоб не было так сиро.

1975

* * *

Беседую с другом сквозь толщу времён.
Беседую с другом, а толща всё толще.
Как будто в «испорченный телефон»
играем, и сердце испуганно ропщет.
И облик, и голос – конечно ж, его!
И эти повадки так мило знакомы...
И всё ж, будто с дальних чужих берегов
справляемся, где мы, и как мы, и кто мы...
О, с кем говорю я сквозь толщу времён?
Осталось ли то, что нас вместе вязало?
Зачем догоняю последний вагон,
мелькнувший лет тридцать назад у вокзала?

1975

* * *

Наивны были мы и пылки,
хотя и знали, что у всех
в железной жуткой молотилке
зерно души летит в отсев,
что только плевелам с половой
дано плодиться и расти,
а заповедной речи Слово
не знает лёгкого пути.
И всё ж, доверясь Далю, в дали
мы шли, как верные послы,
и плевелы не принимали,
поклон полове не несли.

1980

ТАБЛЕТКИ РАВНОДУШЬЯ

Подавленный растрёпанностью душ, я
хочу спасти покой своей души –
аптечные таблетки равнодушья
душе приобретаю за гроши.
Смятенье склок и мой несносный норов –
всё в прошлом, жизнь теперь легка –
смиряю вмиг разноголосье споров
глотательным движеньем кадыка.
Сбиваю спесь, расправился с печалью –
мне все ограниченья по плечу.
Дурной погоды я не замечаю,
но и хорошей больше не хочу.
Снижаю ниже нижнего предела
давленье крови, духа и страстей.
Толпа недоброхотов поредела...
Но почему ж редеет горсть друзей?..
А впрочем... Наплевать... Они на кой мне?..
Там чей-то гроб... Вы говорите, мой?
Закройте крышку – так лежать спокойней...
Не знал,
что без таблеток есть покой.

1983

ВЫВОД

Герману Крупину

Я добывал стихи из жизни,
выуживал из вод времён.
Столетья
сердце мне изгрызли.
Мгновеньем
лоб изборождён.
Бросал я сети наудачу,
и мало попадалось мне.
Удачей жизнь не обозначу,
но что-то
удалось вполне.
Был сделан вывод
самый ценный:
вся жизнь – вполне достойный срок,
чтоб выудить из вод вселенной
две дюжины удачных строк.

1986

ДУША

Сломался некий инструмент
с названием Душа...
Взамен подбор магнитных лент
заправить мне спешат...
Играет в шашки и поёт чудесный агрегат,
ведёт учёт, расчёт и счёт доходов и затрат,
шинкует свёклу он к борщу и пишет без
чернил...
А я всё мастера ищу,
чтоб Душу починил.

1980

* * *

Жизнь человека – это сад,
где злые яблоки висят
и зреют гроздья грозных бед
от зорь и до заката лет.
В давильне выжмешь терпкий сок
и горечь – как удар в висок.
И в каждой капле – память зла,
что жизнь сквозь сад твой пронесла.

1967

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ

В косом оконце,
там, где вывеска «Прием утильсырья»,
где по стене – и плесень, и мокрицы,
на пыльной вате в покоробленной слюде
лежит потёртое
перо Жар-птицы.
Утильщик там соорудил
из проволоки, битого стекла и пробки
от графина
столь хитроумную для солнца западню,
что луч вечерний, луч единственный,
едва её задев – не может выбраться
и пленником утильщика бывает раз на дню.
Он мечется меж стеклами, он искрой
фиолетовой,
он радугой кидает из окна до потолка
и выполняет прихоти чудно́го старика.
В тот миг перо жар-птицыно, помолодев, цветёт
и блещет, и сверкает,
и можно догадаться, с каких оно упало
заоблачных высот.
И в этот миг утильщик
смеётся вместе с солнцем,
приплясывая валко меж хлама и старья.
И кажется, и мнится: жизнь прожита недаром –
в окне перо Жар-птицы
и отсвет озаряет «Прием утильсырья».

1973

ЛИЦА

Подчас дивлюсь, в броженьи буден
почти уже отжив своё:
что за личины лепит людям
солёное житьё-бытьё!
Не лица – сложные ландшафты,
где в ямах оспин и морщин
носы – как скалы, рты – как шахты,
и лишь в глазах мутнеет синь.
В другие втёрлось что-то зверье:
торчат клыки из-под губы
и слиплись волосы, как перья,
и щеки сизые грубы.
Есть что-то от коры дубовой,
от чурбака, сука и пня
в обличьи косных лиц, чьё слово
всегда преследует меня.
Случались вместо лиц комоды,
горшки ночные, сундуки...
И я, устав от этой моды
глаза сжимал клешнёй руки.
А сам ведь харей не обижен:
не мало жести смяла жись –
ведром под кулаком булыжен
башка брунжала лишь держись!
С лица содрали даже брови.
Трясусь, жестянку-жись кляня.
И всё ж боюсь, когда по-совьи
те лица смотрят на меня.

1969

СЕСТРА ОКЕАНА

Ловила старой снастью рыбин,
пока спокоен океан.
А за спиною, за обрывом
ненастьем чёрный бубен вздыблен,
там космами трясло ненастье,
готовясь к пляске, как шаман.
Согбенная, со взором древним,
привычным взмахом тёмных рук
тянула снасть за горным гребнем,
среди раздумий и распутий,
среди изломов и излук.
Она на океан ворчала –
не очень-то сегодня щедр...
Он для неё был однолетком,
он, как она, жил изначала –
всех старше, всех мудрей, всех горше
среди людей, вершин и недр.
И в надвигавшемся ненастье
шло продолженье давних лет:
снасть, отягчённая уловом,
сменялась опустевшей снастью,
приметы добрые сменялись
тревогой пасмурных примет.
Всё было –
доброе и злое...
Расцвел и сгинул целый клан...
И вот у берега лишь двое:
она – согбенная старуха,
он – оскудевший океан.

1970

* * *

Он сторожит арбузы
ночь насквозь.
Они в ларе железном. Он в дожде.
Он стар и согнут, словно ржавый гвоздь,
торчащий криво в мокрой городьбе.
Какие сквозняки, какой поток!
Как эта муть сегодня холодна!
Как ноги ломит!
Как долбит в висок
судьба, что без покрышки и без дна!
Все дни,
Все годы,
Все века,
Весь свет
сомкнулись клином на его плечах,
свели все счеты всех прожитых лет,
задули все огни
на всех свечах.
Остался только непогоди вой,
когда болезни точат страшный клюв
и прошлое висит над головой,
устало крылья слабые свернув.
Осталось: сесть и сторожить всю ночь
арбузную вселенную в ларе,
где все планеты, что им ни пророчь,
пойдут под нож в дождливом сентябре.

1962

НАСЕЛЬНИКИ ГЛИНЯНЫХ КОРЧАГ...

Причуды и привычки домашних растений,
доверчиво сидящих в замшелых горшках...
Они, как птицы в гнёздах, без скуки и без лени
высиживают нечто за совесть, не за страх.
Рабы своих владельцев,
свободный кажут норов,
причудой своевольной хозяина разят...
И прорастают стебли меж вздора и раздоров,
пока семейство в дрязгах от головы до пят.
Не вставят голос в склоки безмолвные сидни,
безгласные насельники глиняных корчаг,
но есть в их слабых стеблях
не явный и не видный,
но всё ж
покой и тишь отворяющий
рычаг.
Издёрганный и мятый,
подходит к ним некто –
огладит он листья,
оглядит цветы...
«Хоть за окошком стужа –
в душе и в сердце снег-то...
А тут росток увидишь
и потеплеешь ты».

1996

* * *

С шести утра продажа водки.
О пьянь послевоенных лет!
Грязней, чем старые обмотки,
в крови запёкшейся рассвет.
Шинель – по пояс,
жизнь – как волос –
чуть тронешь – оборвётся срок.
Судьба на мину напоролась,
теперь – тележка вместо ног.
А по ночам в порыве страшном –
прорыв! И месиво из тел,
и крик твой собственный,
тогдашний,
и ты меж тел...
И сон слетел.
Косая на косом откосе...
Броня и души – в драбадан!
Теперь, спасибо, друг подносит
к губам обугленным стакан.
С утра пораньше, для разбежки.
В пыли рассветной у ларька
стаканы с водкой,
две тележки
и на двоих
одна
рука.

1975

ПАМЯТНИК ПОЭТУ

За белым камнем выгиб речки, поле
и всходы худосочного овса,
и лес в весенней северной юдоли
зелёными огнями занялся.
И в вечных красках вечных смен природы
и в птичьих песнопеньях в вышине –
свист поезда, ни с чем другим не сходный,
стальным хлыстом хлестнувший по весне.
А ниже, ниже, на шоссе – машины.
Кичливый лак и никелевый блеск,
и чьи-то лица в суете мушиной,
и славы чьей-то выспренний бурлеск.
Но здесь, на взгорье
только белый камень.
Ни славы, ни бесславья.
Он, как жизнь. Он есть,
чтоб вместо волн
веками
плескалось Время у его крутизн.

1967

ТЕБЕ О ТЮИЛЬРИ

Косте

Названье птичье
Тюильри
птиц привлекает со всего Парижа.
– Тюрлю – тюрли! –
послушай, посмотри
всё то,
чего я больше не увижу.
Когда-то и меня
позвал Париж,
завлёк и заманил:
– Тюрлю – тюльри!
И я был легкомысленней, чем чиж
и прилетел в Париж,
в сад Тюильри.
С тех пор мне перья потрепала жись.
Не хватит крыл
опять достичь Парижа.
А ты –
валяй попробуй, покружись
в местах,
которых больше не увижу.

1986

ПАМЯТНИК

Он там сидит –
меж голубей,
среди колясок детских
и пенсионеров.
Согбен, нахохлен,
весь в своей судьбе.
Нет пенсий,
нет детей,
нет мира и нет меры.
Весна, зима ли –
всё ему одно.
Снег на плече
иль пыль от лип – едино.
Он дна достиг,
сломал судьбу о дно,
и сам остался в сумрачных глубинах.
Туда теперь едва ли заглянуть.
Пласты времён над головой сомкнулись.
И новые пути
его давнишний путь
крутыми колеями отчеркнули.
Он в вечной славе,
в праздничной чести.
Привычно всё –
от слов его до позы.
Но как ему теперь
себя спасти
от славы, почитания и бронзы?

1967

КОВЧЕГ

Я перебрался в старую Москву,
мой дом – ковчег, сквозь времена плывущий.
Не знаю, долго ль сам останусь на плаву,
но всё кругом плывёт стремительней и пуще.
Я в трюме, где трюмо, потертою фольгой
глядится в коридор лет семьдесят и боле;
в каюте, где киот с отломанной ногой
стоит уже сто лет, не замечая боли.
Я в этот древний праведный ковчег
из будущего влез, как безбилетник.
Здесь тесный коридор, длиною в целый век,
трагедии таит и сеет сплетни.
Плыву сквозь пену пасмурных недель
и каждый миг без тени суеверья
с опаской жду, что вынесет на мель
и трещина пропорет межреберье.
И выйдет Ной из комнатки внизу,
и позабыв про чистых и нечистых,
седою бородой утрёт слезу
и свой псалтырь прочтёт над атеистом.

1973

II. ВЛЮБЛЕННОСТЬ

* * *

Красою чуткою чиста,
под ветром пламенея,
в печах чащоб горит листва,
и ты сгораешь с нею.
Бескраен вымах ветровой
над светлыми лесами,
где голос твой и облик твой
до тла сжигает пламя.
Ты не сгорала в тех кострах,
где угли согревали.
У ветра был весёлый взмах,
и птиц дарили дали.
А этот ветер с высоты
грозит ударом в темя...
Вот почему сгораешь ты:
не пламя тут, а Время.

1984

* * *

Л.Б.

Хочу стать кувшином,
чтоб ты в меня вылилась терпким вином.
Пусть гончар меня сделает добрым кувшином,
чтобы ты отстоялась во мне,
обрела свою крепость и свой аромат.
Пусть я стану лишь глиняным грубым
сосудом –
лишь бы ты поместилась в меня,
лишь бы стало удобно тебе
изнутри обнимать мои стенки.

Роспись мне не нужна,
украшений на горло не надо.
Стать кувшином,
наполненным только тобой,
лишь тобой до высокого горла.
О, гончар, обжигай меня осторожней!
Если трещина будет,
вино не удержится долго,
оно утечёт, я останусь пустым...
Я хочу стать кувшином.
А ты? Ты захочешь стать терпким вином?

1965

* * *

Повадки стариков –
что старых птиц повадки.
Как клювы, их носы,
как лапы, их перчатки.
Один, как воробей, привязчив и настырен,
и нелюдим другой, как поседевший филин.
Но в разномастьи их есть главное, есть что-то
от всех прощальных стай, собравшихся к отлёту.

1975

* * *

В эту ночь, что черна и бела,
для тебя одеяньем была
тьма и тишь, и тугие браслеты
из зелёного лунного света,
узкий плат весь из прорезей лунных,
да волос молчаливые струны,
да по звёздочке синей в ушах...
Всё в забвенье ушло не спеша.
И запомнились только браслеты.
Где нашла,
потеряла их где ты?

1965

* * *

Стать дурочкой,
полнеющей от долгих поцелуев,
есть сладости, пить лёгкое вино,
день путать с ночью, радость кожей чуять
и видеть явь, как продолженье снов.

Проснуться в полдень, скомкать одеяло
и яблоком заев влюбленный взгляд,
подумать, что и многих взглядов мало,
когда глаза влюблённые глядят.

А в полночь лунный луч поймать ладонью,
продрогнуть, утомлённой и нагой,
и в волосы закутаться спросонья,
и узкий туфель отыскать ногой.
Жить радостно, жить чувственно, что губы,
чтоб груди и глаза здоровьем зацвели...
Пусть это грубо.
Только словом грубым
не называйте радости земли.

1967

ЧУДО

Какое весёлое чистое чудо:
деревья в гудящей листве,
а под ними –
два глаза,
два светлых колодца,
два пруда,
удвоивших мир в бесконечности синей.
Протянута к солнцу волос паутина,
и руки
в меду от покосного ветра...
Так чудо лежит,
постеливши под спину
гудящее листьями
пряное
лето.

1964

* * *

Не берегут любимых, не щадят.
Всю тяжесть – им, и все несчастья – им.
Во времена любви среди счастливых дат
их душат горем пасмурным своим.
Любимых мучат, жучат день и ночь –
любовный пыл безжалостен и лют.
И чем счастливей любят, тем жесточе
терзают злом и тяжестью гнетут.

1972

ТАИНСТВО ПЛОТИ

...Есть таинство плоти,
которое смутно начнёшь постигать
по прошествии лет.
Все таинства прочие
просто обрящете и обретёте,
а это есть таинство таинств,
а это – наитье, открытье
в себе, в неподвластных глубинах,
неведомых сфер и планет.
Вселенная в теле твоём.
И чело не возвышенней чресел.
Вдруг сумрачно, сонно забрезжит однажды,
как будто сквозь ночь,
сквозь пространство
призыв от далеких светил –
и ты, иссушённый заклятьем неведомой жажды,
бросаешься в поиск,
влекомый бореньем взбесившихся сил.
Всё прошлое,
то, что изведал, что стало знакомо,
не в счёт – стёрто, смято, разбито...
Встаёт пред тобой
первозданным бесформенным комом
незнакомое, новое...
Что? Непонятно.
Распев ли, расцвет иль разбой...
Что-то новое в год,
когда всё под луною не ново.
Что-то светлое
в час, когда сумерки выпьют окно.
Постигается смысл
не сквозь мысль или слово,
а чрез плоть,

где не слово – одно лишь присловье дано.
В этих придыхах, вздохах,
в неистовстве и бормотаньи
вдруг отверзлись глубины,
открылись наречия недр.
Ты неведомый мир обретаешь в братаньи
с первозданной природой,
где миг, как столетие, щедр.
«Приходите».
Когда?
Не скажу и не знаю.
«Распознайте».
Но как?
Никому не понять.
Это таинство плоти протяжно взывает
сквозь моря и миры,
пронизав каждый миг
и позыв,
и познанье,
и каждую пядь.

1972

* * *

Ярость солнца азийского
на плечах твоих, на руках, на груди.
В волосах – душный дым саксаула.
Это пламя песков. Это кровь разъяренно гудит.
Это ты
своим жаром неистовым к встречному жару
прильнула.
Открываю губами солёный миндаль на губах,
угараю в углях твоих жадных жаровен.
Растерзала – пропал и тобою пропах.
Сам себе я не равен и трудным дыханьем неровен.
Задыхаюсь, в любимых барханах тону,
таю, тайну таю и тебе не открою.
И на ощупь бреду в полусне к полусну
незнакомой и вечно знакомой тропою.

1972

НАИТЬЕ

Взбираясь в выси, погружаясь в глуби,
блуждая трудно меж годов и дней,
не женщину любимую мы любим,
а только нашу выдумку о ней.
Свершится вдруг такое совпаденье,
случайный миг, который всё решил –
фантазия и женщина, как звенья,
смыкаются внутри твоей души.
И нет сильнее радости на свете –
всего себя для радости готовь!
Стань суеверным, ибо по примете –
Чем звонче радость, тем сильней любовь.
Но, полюбив, любимую не знаем.
Она, как птица в зарослях дерев –
есть голос, но для глаз непроницаем
листвяжный терем, где живёт напев.
А если взор схватил её всю разом,
одним глотком от головы до пят –
исчезнет голос, испарится разум.
И снова образ надвое разъят.
Так где же цельность, где души раскрытье,
где пониманья праздничный накал?..
Неужто вся любовь – одно наитье,
тревожный свет на дне пустых зеркал?..

1973

III. СВЯТЫНИ

ИЗБА

На перекрёстке всех стихий
стоит изба,
на перехлёстах
ветров и ливней
и судеб –
от колыбелей до погостов.
Краеугольные каменья –
в корнях деревьев и дорог,
а в брёвнах, в балках, под застрехой
не твой ли спрятан строгий срок?..
В стихию неба и земли
вплелась житейская стихия,
и в тишине
сильней вдвойне
её раскаты роковые.
Чуть вскрикнет дверь,
вздохнёт сквозняк
и затоскуют половицы...
Кто ж там сумел в родной предел
из невозвратности пробиться?..

Былое не легко легло
основой дня, что только начат;
и на заре
в углах, в глазах, в сенях, в сердцах,
питая страх,
ночные призраки маячат...
Когда метёт и спутан счёт
ненастных дней и дел всечасных,
попробуй, собери в годах
добро и зло, и плоть, и прах

всех, кто к судьбе
и к очагу родной избы
теперь причастны!
Суглинок грядок и дорог...
Дождя и трав тугие нити...
Цепь уходящих в даль имён...
Крепь жизней с пращурских времён...
Кто был,
кто есть,
кто не рождён!
В поток стихий родных нырните,
душой признательной прильните
к стволам судеб, сердец, событий,
ветвями вросших в небосклон!

СОБОР

1

Поруганный Собор
безмолвен.
Подумалось, он мёртв.
И кто же смог бы выжить,
коль выбиты глаза,
в проказе кожа
и мерзость запустения внутри...
Тут в голые голодные года,
разгородив просторные приделы
на узкие убогие клетушки,
великолепие сменив на срамоту,
ютилась голь и боль,
что вынудилась из деревни в город.
Здесь трубы печек
сменили трубный глас Архангелов,
и лики всех святых
исчезли в дыме.
И Бога,
взиравшего из горней выси
не стало видно
за копотью.
Разбили на дрова златой иконостас;
из створок врат алтарных
соорудили двери для чуланов.
По очереди женщины стирали
в святой купели серое бельё.

2

Так
полстолетья
Собор служил
не Духу, но животу
бездомных сих и сирых.
Служил,
своею смертью
оберегая жизнь.
Служил,
покуда некий пьяница,
утративший не только разум,
но самый облик человека,
случайно сунул в керосин окурок...
И пламя,
рванув под купол,
выжгло всё до тла.

Огонь бессмыслицы
пожрал жизнь жалкую
и стёр остатки смысла.
И долго
даже птицы не садились
на чёрные кресты и на карнизы.
Безмолвен был поруганный Собор.

3

Мне думалось, он мёртв.
С опаскою ступая по золе,
по выщербинам пола
среди хлама,
напоминавшего о скудном быте,
в который обратили Бытие,
услышал я свои шаги...
Ничтожный звук их
подхвачен был стенами обгоревшими,
усилен выгибами купола и нефов,
продолжен гулкой пустотой пространства.

4

И мне почудилось, помнилось,
что Собор
не умер.
В дремоте запустенья
он тосковал по звуку
и сейчас
шагов чуть слышный шорох
он подхватил и отпустить не может,
на все лады его перепевает,
припоминая
великолепие былого многогласья.
И тут,
поднявши взор от хлама,
я на стене обросшей сажей,
отчётливо увидел
сияние златого нимба
и складки златых одежд,
и крест златой на них.
Сгорело всё вокруг,

лик стёрло пламя,
но золото нетленным оказалось,
незамутнённым в гари и дыму.
Средь знаков гибели
оно хранило
движенье благословляющей руки святого,
неведомого,
давнего,
поруганного
пламенем беспамятства и лжи.

5

Уж если после стольких испытаний
Собор сумел сберечь такое...
Не знаю, что сказать.
Слова пропали.
Мучительно ищу забытое,
хочу подарок сделать бедному Собору.
На сбитые ступени алтаря
встаю
и громко, хоть неверно
произношу три слова нараспев:
– Бла-го-сло-вен Бог наш!
О, как Собор слова мои вознёс.
О, как они зарокотали
под куполом,
там, где когда-то изображен был
Бог на облаках.
Как бережно Собор хранил их звуки,
не отпускал,
берёг по нефам,
по тайникам неведомым.
Я уходил, а голос всё звучал.

6

Отчаявшийся,
никому не верящий,
изверясь
в самом неверии, неверный охватившем мир,
сегодня
приобщился я
к чему-то,
чему названья нет.
Иль просто я не знаю
такого слова, чувства, состоянья?..
О, почему
лишь через разрушенье и потерю
утраченное робко вспоминаем...

1988

IV. ЛИСТЬЯ

А ЗНАЕШЬ...

Сорока застрочит, ворона проронит
картавый раскат перебранки вороньей,
спешит вездесущая птица синица
в сентябрьскую песенку звонко вселиться.
Среди разнобоя лесного и дятел
скрипучий глагол на осине распятил.
И только лишь ты, напрягаясь до дрожи,
природное слово исторгнуть не можешь.
А, знаешь, совсем напрягаться не надо –
и слово лесное придет как отрада,
как шёпот и лепет листвы листопада,
как выстуки града,
как зов звездопада,
как зрелая роскошь душевного лада.

1985

* * *

Отцвёл багульник,
отошла пора.
Ждать больше нечего –
пора и восвояси.
Бессребренику не до серебра.
Слепцу наш мир и без светила ясен.
Я шёл в просторы не за серебром.
Я, как слепой, предгорья палкой щупал,
чтоб услыхать, как скачет ломкий гром
и как гремит хвостом об воду щука.
Я отыскал, что захотел. Я рад.
Пора прошла,
но я пришёлся впору
поре, где облака паря
себе не ищут твёрдую опору.
Цветы безмерной жизни не хотят:
отцвел багульник и не сожалеет.
И омули, спасая омулят,
сеть отягчают добротой своею.
Прощаясь, не прощаюсь, а учусь,
как растворяться в воздухе и в водах.
Отцвёл багульник.
Ни к чему тут грусть.
От праздника ведь тоже нужен отдых.

1968

ДЕКАБРЬ

О декабрь.
О недужность рассветов.
Непроглядность ночного пласта.
Это песенка вечности спета –
слепота,
глухота,
темнота.
Зашевелится только к полудню
тяжесть туч и слежалость снегов,
и прорежется лучик приблудный
через толщу домов и дымов.
Но ещё тяжелей и слежалей
дрёма дымной декабрьской души.
Где, в каком позабытом кружале
сам
сиянье её
заглушил?..
Прогорели дрова и дерзанья,
и осталась холодная гарь,
да растянутый в наказанье
нескончаемый
тусклый
декабрь.

1975

НЕВОЗВРАТИМЫ...

На небе хмурые проплешины,
и в чаще тот же тёмный тон...
По сучьям осени развешены
обрывки прожитых врёмен.
Легка тропа спокойной памяти.
Нелёгок прошлого комок.
В сыром лесу и вы оставите
судьбы своей тревожный клок.
В далёкой, давней этой волости
он долго провисит ещё,
пока порыв осенней мороси
его не бросит на плечо...
И так пронзительно припомнится
вот эта самая тропа
и день, высокий, словно звонница,
и лист, что на плечо упал,
и облик чей-то...
Не тревожь его,
не поднимай печальный прах.
Невозвратимы клочья прошлого,
что виснут на сырых ветвях.

1980

* * *

Обрывок моря: чайка, яхты,
развалка волн, раскачка мачт...
Знак отыщи на каждый взмах ты,
и всё, что видишь обозначь.
Когда начнёшь тонуть во вздоре,
захлёбываться в мелочах –
возьми листок с обрывком моря,
со знаком чаек, мачт и яхт.

1984

КАРТИНА ДЕКАБРЯ

Туманная картина декабря
зыбка, зябка, размазана, размыта...
Художника перстом кривым коря,
обочь реки нахохлилась ракита.
Но разве мог он куржаком и льдом,
снегами по снегам писать иначе?
Мечтой продрогшей в холоде ведом,
он только очертанья обозначил,
он только наспех, дуя в кулаки,
сумел намазать утреннюю серость...
И всё ж тот перст озябший у реки
ему запомнить льстилось и хотелось...
Упрёк ракиты принят был сполна.
И по туману тёмною эмалью
она теперь в картину включена
единственной отчётливой деталью.

1980

ЧТО ДОСТАЛОСЬ...

Пахнет яблоком в тощем осиннике.
Дышит холодом в старом саду.
Знаю: было заветное яблочко,
только я уж его не найду.
Где-то рядом висело весёлое,
веселило, как день именин...
А достался в осеннем осиннике
горький лист от осенних осин.

1984

РЯБИНОВЫЙ ПРАЗДНИК

Ступай и в тумане по плечи увязни,
продрогни, как лист, на осеннем ветру,
сквозь дождь проберись на рябиновый
праздник,
угаданный сердцем чуть свет поутру.
Туда устремись через ветви и время,
где Пращура след между глин и дернин.
Броди по лесам, по кочкарой уреме,
покуда в глазах зарябит от рябин.
Покуда есть воля и радость, покуда
у леса не отняты жизнь и душа,
вбирай мимолётное тихое чудо,
рябиновый праздник для сердца верша.

1984

САД

Памяти тётушки Гали

Доверчиво домашние деревья
столпились перед тёткиным двором.
Деревьям деревянная деревня
всю жизнь даёт,
а мы всю жизнь берём.
Но яблоки и вишенье, и дули –
не выдача отдачи от удач.
Деревья к дому радостно прильнули,
платя сверх мер и не желая сдач.
Они, как тётка в щедрости упорны
и в них – она,
их сад в одно связал –
не разобрать, где руки, а где корни,
где ягоды, а где её глаза.

Мосолово, 1972

ОВРАЖНЫЕ ТАЙНЫ

Внизу теперь темно и сыро...
Овраг, как запертый подвал.
Он древними ручьями вырыт
и спрятан ельником под вал.
Его не видно за чащобой.
Лишь винно-волглая листва
лепечет сонно об особой
в нём скрытой тайне естества:
о вязи солнца с паутиной,
о связи завязей и звёзд,
о жизни тёмной и глубинной,
питающей красу и рост,
о тонком свете в бересклете,
о лунном папоротнике,
о том, чему на белом свете
осталось место в тайнике...
Случайна жизнь. Ещё случайней
овражной тайны кроткий кров.
Кто даст бескрайне длиться тайне
овражно-важных тайников?..

1984

ШАХМАТОВО

Дом сожжён, и разрушена церковь,
но простор и высок, и глубок –
он прошёл через ту же проверку,
что усадьба и церковь, и Блок.
Ни железо, ни камень, ни древо
той проверки снести не смогли,
изломавшей и душу, и чрево
этой перестрадальной земли.
И в великой вселенской округе
сохранились с тех пор до сих пор –
битый камень да старые угли,
и запомнивший Блока
простор.

1983

* * *

Богатство скудости родной –
оттенки серого на сером.
Нет яркой краски ни одной,
нет превышенья скудной меры.
Есть серый дом и серый сад,
и небо серое над крышей.
И птицы серые висят
в недвижной серости притихшей.
Дороги серое рядно.
Судьбы суровые полотна.
Богатство скудости родной:
круг серых дней, тугой и плотный.

1984

СЕЛЕНА

Лучение Луны пьют сонные растенья.
В болотах по-русалочьи рогоз
протягивает синие сплетенья
к лучам, дарящим потаённый рост.
Медами чаша полночи налита,
и сотовым куском белеет лунный шар.
Тревожит тишину гуденье пчёл на липах:
июньская луна влила в цветы нектар.
Она спрямляет сук сосны согбённой,
и древний дуб её лучи бодрят.
С Селеною из тёмных сил Вселенной
по мощи ни одна не встанет в ряд.
Стволы и стебли, клубень и початок
в блаженном полусне вершат глухую жизнь:
им, кроме Солнца, люб другой зачаток –
таинственный полночный магнетизм.
Впивают луч Луны крапива и картофель,
восполнив то, что день уходит, недодав...
Уж коль не Гёте знал, так Мефистофель
о пользе лунных сил для дерева и трав!

1982

МОТИВ СЕНТЯБРЯ

Такая досада – литые осенние яблоки на вершине
сороки истыкали острыми клювами.
Дрозды налетели –
от чёрной рябины остались оклёвыши жалкие.
Посмотришь в окно, там зелёная мутность –
цветы и деревья, продрогшие ульи
расплылись в неровные пятна.
И чёток лишь скрип двух синиц, потерявшихся
в мути.
Воробьи подняли гвалт на кустах под окном,
разбудили трёхлетнего сына;
он глазки открыл, улыбается, руки тянет ко мне.
Надо его одевать.
Столько хлопот приносят осенние птицы...

1977

РИСУНОК И ПЕСНЯ ВЕСНЫ

Деревья и птицы – рисунок и песня весны,
скоротечный, беспечный, извечный мотив...
Как ладно и складно, как тонко они сплетены,
сплетеньем своим не в последний ли раз,
не впервые ль меня охватив?
С весною встречаясь, прощаюсь.
На радостях чаще грущу.
О горечь познания зыбкости тверди земной!
Как будто бы кто-то вложил мои годы в пращу –
и время в обгон, и лишь прошлое вместе со мной.
И, думаю, вызнав, как годы летят, как стоят:
лишь дни отошедшие были б для сердца честны,
и только бы изредка тонко вплетались в их ряд
деревья и птицы – рисунок и песня весны.

1978

* * *

Никак листвой не разродятся
коряги древние древес.
Их окружили домочадцы,
и май врата свои отверз.
Давно вселенской повитухой
пришла весна, да холодна,
и таинство живого духа
лишь тщится совершить она...
Самой не верится, что в черни
коры корявой и суков
завяжется зелёной зернью
листвы разбуженной покров.
И в тишине палат высоких
ей остается только ждать,
пока встревоженные соки
на свет исторгнут благодать.

1982

* * *

Слиток янтаря – осенний парк.
В глубине ветвистой различимы
сквозь листву и чуть приметный пар
горестей и радостей причины.
В выпуклых боках янтарных глыб
сохранились четко или зыбко
поцелуй, коляски детской скрип
и слеза, и давняя улыбка.
Отсвет душ и зёрна знобких слов,
прозвучавших средь листвы остылой,
в самородки клёнов и дубов
медленное время заточило.
Здесь янтарный луч, войдя в кристалл,
не найдёт предела тонких граней.
Счастлив, кто искал и не устал
от чреды пожизненных исканий.

1982

* * *

Чем весной мне тебя улещить?
У лещины серёжки стащить?
Волчье лыко у лешего выкрасть?
Погоди. На судьбу не ропщи.
По оврагам пошарю: грачи
и скворцы мне поведают хитрость:
под черёмухой в тёплой глуши
у крапивы листы хороши...
Вот подарок лесной. Не взыщи –
пир весенний: крапивные щи.

1983

МЕТЕЛЬНОЕ

Ломало, мело, заметало и мяло
деревья,
дымы,
облака
и просторы.
В смятеньи стихий намечалось начало
разлада,
распада,
раздора,
раззора.
Позёмку вило и вело по извивам
далёких дорог,
закипавших мятежно.
И судьбы ломало тревожным порывом,
и жизнь повисала на прочерке снежном.
По бездне метели
в провалах, в разломах обрывки селений
мело и вихрило...
Хотелось
в раззоре
от каждого дома
хотя б по окошку
спасти от распыла.

1984

ЭТОТ ЗВЕРЬ, ЧТО ПРЕСЛЕДУЕТ ОСЕНЬ

Обглодки ветвей пережевывал ветер,
отрепки листвы перетрёпывал в лапах,
на клён покушался,
на облако метил,
заглатывал краски, звучанья и запах.
Он был ненасытен, всеяден, несносен –
выискивал в дебрях,
прошаривал в чащах.
Он был, словно зверь, что преследует Осень...
И Осени было от этого слаще.

1985

ВЕЛИКИЙ ХОЛОД

В безрадостных пучинах декабря
предметы смутны, смяты и размыты.
Великий холод в мире затворя,
туман содвинул мраморные плиты.
Захлопнулись глухие небеса,
речные щели намертво сомкнулись.
Безжизненные ризы разбросал
Великий Холод в царственном разгуле.
Он нас в пути задел своей полой
без умысла, не снизойдя, не глядя –
был случай слеп и, как туман слепой,
разъединил, оставил нас в разладе.
В продрогшем поле – только ты и я...
Идём вдвоём, но принимаем розно
безжалостность земного бытия
в бестрепетной жестокости морозной.

1979

* * *

В ювелирной лавке осени
целый день – погром и кражи.
Золотые слитки брошены
под ноги, в провал овражий.
Угадаешь нынче разве, кто
наколол эмали синей?..
Серебро как лужи разлито
в остывающей плавильне.
Ризы сломаны и содраны
с потемневших ликов дуба,
и на все четыре стороны
клочья выметаны грубо...
И поэт
приходит скромненько –
подсобрать и спрятать в вирши,
что осталось от разбойников
у несчастной ювелирши.

1979

РАЗНОКРЫЛОСТЬ

Всё то, что за листвою крылось,
открылось, перьями покрылось,
раскаркалось и раскрылилось,
затенькало, замельтешилось,
прощаясь с нами, в стаи сбилось,
за хмурым окоёмом скрылось,
оставив скучную остылость
и оголённость, и постылость
с одной надеждою на милость –
вернуть весной всю разнокрылость.

1984

СОН О ПТИЦЕ

Нет, ошибиться я не мог,
совсем не мог я ошибиться...
Слетела утром на порог
большая встрёпанная птица.
И чистила свой синий клюв,
и громко перьями трещала,
и шею набок повернув,
трубила звонко вдоль причала.
Я чуял птицу. Я сквозь сон,
сквозь мутные, как дождь, ресницы
хотел пробить слепой заслон
и взглядом прикоснуться к птице.
Я порывался на причал,
где буря била в борт баркаса...
И лишь бессвязно прокричал
в дыму предутреннего часа.

1971

* * *

Деревьев почерк;
знак и звук
птиц, собранных в тугую стаю...
Меня забудьте, как листву,
как снег сошедший забывают.
Был послан я издалёка
и собирался я далеко,
но надломился, как строка
в руках неловкого пророка.
Я за бессмертием не лез –
бессмертны склепы, а не люди.
Я был, как предосенний лес,
что, убывая, не убудет.
Деревья, дети и птенцы –
вот всё, что миру я оставил.
Начала есть,
а где концы?
Где правила игры без правил?
Сгорая, обращаясь в дым,
к вершинам дальним отлетая,
дыханье отдаю другим
листам,
словам
и птичьим стаям.

1974









Книга шестая

«ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ»

2000

I. НА СЛОМЕ ВРЕМЁН

* * *

Последняя птица
на сломанной ветке
погибшего мира.
Всё хочет запеть и не может,
всё хочет взлететь да не в силах...
О, если бы мир воскресить
лишь на миг, для блезира,
чтоб птица
над веткой, над миром, над смертью
пронзительно взмыла!

Если б мир воскресить на мгновенье
и миг растянуть,
чтобы гнёзда
последняя птица свила
и птенцов завела, и вскормила,
и тёплым птенцам доставала б горячие звёзды
и вихри Вселенной,
как гусениц, тихим птенцам приносила.

У смерти в последнем мгновеньи
таится живой промежуток,
в котором расправлены судьбы, разглажены лица,
он люб для души,
он для разума страшен и жуток.

В нём птица последняя вольно и смело
гнездится.

1997

* * *

Лежу на вихре
и на свисте,
внизу вонзающихся в темень
и вмиг пронзающих мне темя
неиссякающих машин.
Какая жуткая перина!
Стальные перья,
пух железный
да выхлоп гари –
испытанье
для тела, духа и души.

Мне тут предписано леченье
от злой болезни,
возбужденной железным грохотом
и свистом –
недуга душных городов.
Покой и тишину назначив,
меня свалили на перину
из вихря, грохота и свиста,
разбитых,
взбитых,
взрытых,
вбитых
между домов и проводов.

1997

* * *

Обмылки, окуски,
огрызки, огузки,
отсевки, обноски,
обрывки, обсоски –
всё ворохом, кучей... Свалили кулём.
– Ужо расхлебаем...
Потом разберём...

Какие просторы!
Какие проворы,
програби, прожоры, прожекты, проблуды...
Баланда, бурда,
а для избранных – блюда.
Меж хилых хибарок, худых халабуд-
хоромы,
халифы,
халтура и блуд.

В безденежной немощи
зреет мощь денег,
меж нищими рыщет
могучий мошенник.

В бесправье, в бессилье, где плевел и плач –
всесильный бездельник, трепач и палач.

Чем больше обмылков, обносок, обсосок,
тем выше влиятельнейший недоносок.

Бормочет с презрением к нищей дешёвке
замусленных слов шелуху и оплёвки.

Сулит, суесловя в бесстыжем обмане,
всем – райскую жизнь с исполненьем
желаний.

И все мы, отринув душой пустозвона,
смысл жизни прогнали,
нагнав самогона.

1991

КНЯЗЬ ТЬМЫ

Солдатский строй.
Сума с тюрьмой.
В полях осот, в лугах осока.

Обычай давний и больной –
годами ждать дурного срока,
когда от тюрем и сумы
да от военного устава
очередного Князя Тьмы
нам силы тёмные поставят.

Его нам снова величать
пустым и равнодушным вздором,
терпеть бездушную печать
под неизменным приговором.

И снова
засевать осот,
жать чернобыльник да крапиву...
Чтоб Князю Тьмы с Его высот
всегда гляделось горделиво.

Чтоб тьма густела, чтобы мы
с привычною фальшивой страстью
о тьме просили Князя Тьмы,
о беспросветности всевластья,
чтоб силы тёмные всегда
властительно владели нами,
и неизменная беда
вилась над всеми головами.

1989

СМЕРТЬ МАСТОДОНТА

Издыхал мастодонт,
раздирался на части под собственным весом.
Клочья шкуры сползали,
и жилы в суставах рвались...
И смыкалось бессилье над ним как завеса
меж чудовищным прошлым и меж настоящим,
огрузшим, как грязь
и дрожащим, как слизь.

Подыхал мастодонт,
и над телом беспомощным дико и грозно
бивни дыбились в небо
и в землю врезались –
четыре столба костяных...
Бивни, шкура и хобот гиганта
отныне соседствуют розно.
Нет в них мощи,
лишь злое коварство запряталось в них.

И свободный охотник
опаску пред мёртвым притушит,
прибредёт, чтобы шкуры кусок присмотреть...
И осядет, навалится мёртвая туша,
самой смертью своею
продолжит лишь смерть,
только смерть,
ничего, кроме смерти
одну неизбывную смерть.

1997

* * *

Бреду в бреду,
по броду бреда
перебредая свой недуг,
тот предпоследний миг изведав,
когда под дых ударен дух.

Когда, казалось, не осталось
зацепок в жизни никаких,
суметь к себе глухую жалость
преодолеть в последний миг.

Сменив смятенье на смиренье,
боль понимаю как юдоль,
и успеваю до успенья
познать всей жизни суть и соль.

1997

* * *

В нашей проклятой Богом стране
средь разграбленных, рваных просторов
удалось одному сатане
показать свой безжалостный норов...

То в бородке,
то в жирных усах,
то совсем без волос как яичко,
он наводит неистовый страх –
стала смерть
повседневной привычкой.

Вместе всех, как один, умирать
приготовил он с мига рожденья.
Вместе всех, кто не с ним, проклинать,
а хвалить лишь его изреченья.

Здесь в могилу кладут,
как в постель,
заболевших жестокою жизнью.
Этот отдых –
заветная цель
приневоленных к коллективизму.

1991

* * *

Не наследных наделов насельники,
не провидцы в проклятом ненастье –
победят
дураки и бездельники,
одержимые бесами власти.

Ведь уходят фантасты философы,
не пожав, а едва лишь посеяв...
И за ними –
народец отбросовый
горлохватов, хапуг, фарисеев.

Приспособят к себе, как по выкройке,
многотомье любых идеалов...
Власть – что койка,
заняв её, вы к койке,
прохиндейте идей – одеяло.

Постелите (вы стали в том доками)
себе мягко, а прочим пусть жёстко,
и затем уж
словами высокими
оправдайте обман и обжорство.

Шейте к пышным перинам наперники,
нежьте в пухе филейные части –
всё для вас,
дураки и бездельники,
одержимые бесами власти!

1992

* * *

Лист последний
последней осени,
как душа последняя, смят,
и погибших деревьев укосины
обозначили ворота в ад.

День последний
и слово последнее
пред началом последних мук.
Это колокол гибели, медь его
говорит языком разлук.

Попрощайтесь,
коль хватит усилия
взмахнуть на прощанье рукой.

Пред воротами ада,
Кто? Ты иль я?
Первым примет
вечный покой?

1992

СЫЧ

Хоть пей, хоть пой, хоть плачь иль хнычь –
всегда вдвоём с твоей бедою,
бездушный полумёртвый сыч
подглядывает за тобою.

Он око блёклое косит,
он ухо скрытное наводит.
Не добр, не зол, всегда сердит.
И рода среднего он вроде...

Ты добр и зол, и мыслью прав,
с начала дней твой род всем явен.
И потому, права поправ,
тебя
он хочет видеть в яме.

Он всех желает усреднить,
учесть, урезать, урезонить,
через сердца продернуть нить,
чтоб нити все соединить
в одной большой и общей зоне.

Чтоб не мешали размешать
живую с мёртвою водою,
и полумёртвых размещать
с кипящей поросльюживою.

Чтоб каждый сделался
никем,
неприспособлен, никудышен,
и полумёртвый сыч затем
сграбастал всё, чем в жизни дышим;

и полумёртвость вознеся
до всеохватного обличья,
переиначил всех и вся,
чтоб в кровь вошла повадка сычья.

1991

КРУШЕНИЕ

Разъялись перержавевшие скрепы,
раздёрнулись все трещины и швы...
Чудовищный корабль
позорно и нелепо
без бурь
погиб от мысли и молвы.

Как слизь осели броневые башни,
как грязь облезла корка позолот.
В день нынешний
не втиснешь день вчерашний,
из прошлого подмога не придёт.

Вернулось всё на вечные устои –
изба, соха, кормилец огород...
Броня и мощь, знамёна... – всё пустое,
других забот отныне полон рот.

На палубах посеяли картофель,
в машине – самогонный аппарат.
Пусть нынче в злобе обер – Мефистофель.
Народ житью-бытью давно не рад.

Ему знамёна хороши на тряпки.
А флаги для портянок хороши.
Он спутник перетяпает на тяпки,
сварганит из скафандров шалаши.

Под пышной трескотнёю о прогрессе
так холодно и голодно жилось.
Давно пришла пора понять всем вместе,
что не «прогрёсс» нам нужен, а «овёс».

1999

* * *

Кижи мертвы.
Не теплится лампада.
Колокола ко всенощной не созывают люд.

Так умирает прошлое.
Не надо
обманывать себя,
и говорить, что вечно
старинные творения живут.

Есть череп,
нет глагола
и нет плоти,
нет уст и рук, вдохнувших дух в дресву.

По черепу вы облик обретёте,
но разве маска
ровня естеству?
Её, и восхищаясь, не полюбят
и жизнь
за жизнь её не отдадут.

Строения живут, покуда люди
в них плотию и помыслом живут.

Все гульбища и торжища, и страсти,
молебствия и крестные ходы,
и срамота грехов,
и чистота причастий
прошли, как воды, по лицу воды.

Осталось
что в страстях нерастворимо,

что было только отсветом страстей,
что над костром судеб вставало дымом,
а судьбы догорали до углей.

И тех судеб не стало.
Их с корнями
повыжгло время по онежским островам.
И только храмы
серыми дымами
ещё встают
вдали
то здесь
то там.

1968

САМИ

Шаг завершён и выбор совершён.
Измерен путь по непотребной мерке.
Торчит оглобля в колесе времён.
Глагол веков стирается и меркнет.

В годинах безысходности
душа
находит лишь коварство и кручину,
и вечный круг бессмертья заверша,
устало ждёт
унылую кончину.

Давно слова людские сведены
к двум-трем реченьям гнусного похабства,
и сделалась приспешьем сатаны
былых церквей былая паства.

Уродливая скудость бытия
изблёвывает мерзость и уродство.
Разбиты лица –
вместо «ты» и «я»
есть «мы»,
забывшие свой край и век, и род свой.

Убого ищем, кто виновник бед
среди народов, бедствующих с нами...
Но нет злодеев и виновных нет,
коль их вскормили и взрастили сами!

Скудеет взяток с пашен и лесов,
и впереди –
проруха или прорубь...

Мы сами
сунули оглоблю в колесо,
и сами
душу обрекли на погубь.

1991

II. ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА

* * *

Ледяная планета
повисла меж чёрных ветвей,
в полутьме засветилась,
качнулась, когда налетел снеговей.

И потом,
соскочив со своих поднебесных дорог,
о Землю разбилась,
и хрустнул мороженый сок.

Не заметил никто
столкновенья двух сфер, двух миров,
не заметил и яблока,
с ветки упавшего в ров.

И в небе теперь
меж корявых суков
натыкается взгляд
лишь на мёртвые звёзды,
что свет безглагольный лучат.

1996

* * *

Если холод и хмурь,
и железо на крышах бренчит,
и в мирской бесприютности
некуда ткнуться и деться,
я крадусь по тропинкам годов
и оказываюсь на печи
в доме деда,
где скрытно
живёт моё детство.

Разрывая тенёты времён,
возвращая прошедшие дни,
так прекрасно и вольно
плывёшь по минувшим стремнинам!
Если прошлое в помощь,
то прошлое смело тяни,
и вбирай, и впивай,
и любуйся созданьем невинным.

Загляни под закрайку грядущей зари,
если мутно в душе,
если сердце гнетёт и мурыжит,
на ещё неприметных лучах воспари –
ведь и в будущем
прошлое ждёт,
чтоб помочь тебе выжить.

1997

СКИТ

Жить в скиту...
На неделю за лето
стать пустынником-анахоретом,
вдвинуть жизнь свою
в недра дождей,
тихих трав
и дерёв –
из минувших веков пилигримов,
чтоб увидеть, как звёзды кружат,
блики солнца дрожат
и как Время вихрится,
и вихри проносятся мимо.

Соглядатай судьбы,
посторонний свидетель событий,
углядишь через стёкла зари,
через трубы стволов, через щели травы,
что же с нами свершилось,
как жить и как быти.

Скит заполнить, как ларь,
самородками прошлого,
зернью забытого, брусом былого,
и потом запереть навсегда
в этот миг обретённым
единственным
Словом.

п. Лесной, 1997

О ГРОЗЕ

Гроза ворочалась на каменном одре.
Был полдень, был июль,
был обух, был, как плеть, я.
Не скажут обо мне:
погиб «аки обре»...
Ведь в смерти, как «обре»
не обрету бессмертья.

Гроза ползла по каменным горбам
домов и крыш
и громоздила горы.
Отдам я плоть и кровь,
но душу не отдам.
Опора лишь в душе,
хоть зыбки все опоры.

Гроза грозила молнией
и гром
таила в тучах, в глубине и сыри.
Коль заперта душа в глухой и тёмный дом –
немудрено забыть о беспредельном мире.

Забыл его.
Но, крышу разорвав,
мир сам ворвался с громом и трезвонцем –
чтоб я сумел,
нелепый, как жираф,
пролезть в дыру
и вновь
увидеть солнце.

1986

* * *

Очень уж река синя,
небо слишком уж высоко.
Этот мир не для меня,
хоть он был моим до срока.

Погружаюсь в микрокосм,
блёклый, будничный и бренный –
лучше места не нашлось
в необъятности вселенной.

Что ж,
и храм слетает в хлам,
коль не мог осилить хама.
Значит, был достоин храм
оказаться среди хлама...

1977

* * *

Пора к наплывам рек,
пора к намывам плёсов,
где в солнечной игре
весенние колёса.

В них спицы из лучей,
и вязнет по ступицу
вся в окриках грачей
шальная колесница.

На радугу садись,
держись за ветки ивы –
пусть плещутся сады
и листья льют в заливы,

и ширятся глаза,
и губы ищут хмеля,
и движется гроза,
и ветер тучи мелет.

1966

* * *

Беспомощные
хрупкие деревья,
избитые метелью
и согбенно,
униженно стоящие
обочь дорог,
по склонам у реки!

Невидимо
мы связаны
старинной долгой вервью
и, даже незнакомые,
мы узнаем друг друга
по облику,
по голосу,
по взмаху
нашей медленной
и трепетной руки.

Мы родственны
по краткости весеннего цветения,
по мигу звонкой радости,
плывущей от корней,
по памяти слоистой,
уходящей в глубь растения
и берегущей проблески,
и стерегущей синеву
давно отцветших дней.

Так просто
снять нам голову,
сорвать с нас
листвяный и проптиченный покров

и сделать одинаковость
столба бездумно-голого
под хохот
топоров!

В метель,
в порубку,
в полымя –
мы вместе.
Мы сломаемся
безмолвно
и без плача, и без поздних укоризн.

Мы к мести не взываем
нашей местью
пребудет
новых листьев,
новых веток
неистребимо жаждущая жизнь!

1965

* * *

Найди мне что-нибудь другое,
воспоминаньями не мучь.
Не нужны
утро, хрупкость хвои
и синий снег, и ломкий луч...

Не повторяй неповторимость,
оставь ушедшее со мной –
когда
не словом говорилось,
а солнцем,
снегом,
и весной.

1986

* * *

Платформа. Ночь.
У жухлых фонарей
метель продёргивает лохмы снега косо.
Ждут поезда
и всем, кто ждёт – теплей
и легче в зябкой западне заносов.

А поезда не будет.
Он увяз в трясине снежной завали и пыли.
Но люди ждут
и в безнадёжный час
надежду пьют из призрачной бутыли.

1962

ПЯТЬ КАПЕЛЬ

Весна скребётся каплями в стекло –
пять коготков, как на кошачьей лапке.
Пять капель
с ветки по стеклу стекло,
и мокрый кот
бежит по мокрой лавке.

Ещё сугробы,
а проплешин вязь
едва намечена в полях заледенелых.
И всё ж душа надеяться взялась,
что у весны – без проигрыша дело.

1986

* * *

Когда свалили порыжелые заборы,
когда щербатый камень разобрали,
отгородивший двор от переулка,
что там открылось,
что за ними было,
что много лет скрывалось и таилось?

Дородный дуб и тополь, и кустарник,
трава и одуванчики –
и всё,
не боле, чем деревья и цветки.

Зачем же было городить заборы
и каменную стену возводить?..

1976

ЧЬИ-ТО ШАГИ...

Слышу чьи-то шаги
в тихой чаще осенней остывшей.
Кто-то медленно шествует
мимо стволов и кустов...
Неторопливо по горке
шаркают чьи-то опорки...
Кто это там?
Оглянулся
и вижу:
лист за листом опускаются с дуба.

1984

* * *

Как долго не мог я поверить
в суть истины самой простой –
что сходны
деревья и звери
единой свободной красой.

Сживаются в рощах и чащах,
где бытность грозна и тиха,
в семейство, единство хранящих,
орешник,
олень
и ольха.

1985

* * *

В зелёных комнатах торжественного парка
сижу и жду, откинувшись к стволу,
пока моя медлительная Парка
закончит прясть
и вденет нить в иглу.

И пяльцы в пальцы взяв, начнет устало
по призрачной канве прожитых мною лет
картину вышивать
с конца и до начала –
от мига «уже нет» до мига «ещё нет».

Кто б ни был после –
те ль, иль те,
картину не тащите на правёж!
Её в зелёных комнатах пришпильте
к живым обоям, где листва и дождь.

1996

* * *

Снежинки перестали быть снежинками,
ведь снег приносит страхи, а не стужу.
Кривляется и кружится с ужимками
белёсый
с неба сыплющийся ужас.

Не выходите в снегопад,
не выпускайте близких –
снежинки тело рвут колючими лучами,
снежинки губят кровь,
они, как василиски,
больных и мёртвых
жаждут днями и ночами.

На мостовых и на полях,
над сучьями раздетыми
снег не для лыж, не для детей, не для
влюблённых.
Снежинки бьют из-за угла кастетами,
снег
отсвет от политики,
от трусости и алчности учёных.

Мир нынче проклят и лежит измучен,
не в силах снять с груди давящий камень.
Метут снега, отравленные в туче
учёными убийцами,
стяжателями
и временщиками.

1967

КОЛОКОЛ

На сломе, на срыве, на сколе скалы
на обрыве,
где шторм с океана
туман тащит волоком –
изъеденный солью и снегом,
избитый ветрами и временем
колокол!

Срывается голос его с крутизны
и летит по камням до прибоя,
и скачет с волны на волну,
как спасательный буй
среди грохота ветра и воя.

Рот отверстый
с могучим стальным языком,
глотки медной мучительный выкрик –
встречь крутой непогоде,
встречь бедствию,
через судьбу,
сквозь стенанья и стены,
волненья и вихри!

Вопиёт он, не зная к кому,
в пустоту, в темноту,
в разъярённую бездну.

И скитальцы прорвутся по прорве морской,
на отверзнутый рот его
уши и души отверзнув!

Бухта Провидения, 1971

КОЛОКОЛ СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

В перетряске
глухих завываний,
железных стенаний
и скрежетов дальних,
в раздёрганном крике шумов
нежданно и странно встает
незримым столпом
голос колокола.

Единственный в вихре суетных
бессмысленных звуков,
протянутый к сердцу
и к небу глагол.

О глас, воспаривший
над тяжестью тягот,
над гнётом гнетущего горя,
над бездной мучений земных!

Чем колокол гулкий тяжеле,
тем легче и шире невидимый столп,
так дивно сердца возносящий
с земли до пределов иных...

Больница № 4, 1996

* * *

Мелькнула жизнь в годах и днях
по городам и в дальних пожнях;
и впромельк мимо, сквозь меня,
вихры и лохмы трав тревожных.

По склону – к тихим облакам,
по выгибу дуги овражьей
вослед кочевьям и векам
трава метнулась пряной пряжей.

О почему средь лиц и глаз,
и слёз, что на ветру не сохнут,
такая малость прижилась –
вот эти травяные лохмы?..

1980

ТИШИНА

Есть ещё кладовые и склады,
где до облачных потолков
с тишиною тюки-громады
громоздятся спокон веков.

Есть ещё дорогие души,
где от выси до самых глубин
можно тишь эту сердцем слушать
от рождения до седин.

1982

ТЬМА

Вот сяду, и стану
смотреть снегопад,
как стаи снежинок с небес полетят,
как сразу стемнеет,
и станет как тьма
тех белых снежинок несметная тьма.

1984

КОГДА ВПРАВЕ...

Ну, вот теперь
ты тоже вправе
деревьев скипетр в руку взять,
державу в солнечной оправе
и соломонову печать.

День пред тобою непочатый,
он время отряхнул с ветвей.
Его
печатью опечатай,
его
в душе запечатлей.

1984

ПЕРВОЦВЕТ

Они ещё цветут...
Земли почти не стало:
щебёнка да излом бетонных плит.
И всё ж
они цветут,
горят, как в поддувале,
где уголь догорающий горит.
Пропарывают плотью беззащитной,
пробуривают робостью ростка
и выставляют свой наивный щит
на тех рубежах,
что заняла
тоска.

Апрельский первоцвет!
О золото завалов,
отвалов и бездушных пустырей,
гори и не сгорай,
гореньем небывалым
бетон и бессердечность одолей!

1979

СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНЬЕ

Всё лыком шито,
наспех сбито,
всё без колодки – скандачка.
Тут рак клешнёй,
а конь копытом
шаляй-валяй посёлок строил,
бараки бил нашермачка!

По жухлым крышам дождик косит.
Углы, заборы – так и сяк
и наискось по перекосам,
да против шерсти, против ворсу
раскосый ветер
хлещет косо
и ставит всё вперекосяк.

И кувырком летят от ветра
клубки из дыма и судеб.
Нет ни привета, ни ответа...
За реками, за тундрой
где-то,
в порту,
где буря кренит краны,
твоя судьба и ветер
спьяну
по крышам скачут в чехарде.

1965

* * *

Старик.
Измучен мукой мудрых,
морщины всей земли вобрал,
ступает средь студёной тундры
согбенный
Северный Урал.

Глубины Запечорья, Заполярья,
зияние заснеженных пучин...
И словно отзвук дудочки комарьей,
напев Души
в безмолвье различим.

Как уцелела
и прошла бездушье,
безвременье, безлюдье злобных дней,
когда
обрывком проволоки
души
свисали с чёрных брёвен лагерей!

Она осталась в вымерзшей пустыне,
где никогда никто не выживал.
...Её согрев,
бездомным старцем стынет
согбенный
Северный Урал.

Воркута, 1962

* * *

Вечер с бреднем тумана бредёт
по лощине, пробрякшей водою –
дергачей наловил у болот
и прищучил в кустах козодоя.

Он добычу понёс на горбу,
запахнувшись в сырое веретье,
и не видел, как чью-то судьбу
подцепил в свои старые сети.

1969

* * *

Разверзлись дали – тянут, словно пропасть.
Пропасть в них, броситься проломом через чащу,
вонзиться лёгкой лодкой, чтобы лопасть
весла
ловила взгляд их, долгий и манящий.

Как не было туманов и томленья.
Уста простора празднично отвёрсты.
В огне прозрачном плавятся поленья –
конец костру, начало взяли вёрсты.

Теперь пусть будет солнечно и звёздно.
Кто лад нашёл, тому не сбиться с лада.
И дали
разверзаются как бездна,
в которую всю жизнь привольно падать.

1969

* * *

Не лицемерит мерзлота ни в чём,
и тундра
никогда не лицемерит.
Что было – было.
Нынче нипочём
былого не прогнать от двери!

Секретов у земли полярной нет:
наружу,
наверх,
на поверхность
летом
выпластывает боль ушедших лет
сырым скелетом.

Пробит цветами.
Пальцы в кулаках.
Да, сжатость кулака в костях хранится!
Повинен он сильнее, чем в грехах
в том, что невинен
и наивен,
и бессилен,
как пойманная птица.

Ни имени, ни года, ни числа,
лишь беспощадно солнечная тундра
и синева,
и птицы,
и чиста
прозрачность утра.

А рядом те,
кого он знал

и те,
кого он не узнает и не встретит
раскинулись в последней наготе –
им нечего скрывать
ни от кого на свете.

А ниже,
за болотом,
за холмом –
там трудный город
бурями ободран.
В каком из черепов,
каким умом
он выношен
и нам в наследство отдан?

О, откровенья северных краёв,
О, кладбища безвестные в мерзлотах!
Здесь не осталось
ни имён,
ни слов,
здесь Правды нагота
лежит в болотах...

Дудинка, 1964

* * *

Был Урал
не Северный даже,
а Полярный,
поезд был –
встал на полустанке среди тундры.
И меж этой широты
сидеть в вагонной духоте угарной
просто непосильно,
а не просто трудно.

Неподалёку – дощатая палатка.
Оказалось, как ни странно, пиво
и, конечно, водка.
Взяли то и сё,
(но чтоб не валко и не шатко),
на пригорок отошли
и выпили за ясную погодку.

Там сдувало комаров,
и повалившись на багульник,
мы глядели, как простор
грызет хребет Урала.
И так празднично нам было,
так привольно и разгульно,
что душа сама
протяжно песню закричала.

И только старый инженер петь с нами не заладил,
уселся в стороне
и понурился к осоке.

И Урал уходил парусом по глади
в годы, в тундру, в океан,
незнакомый и глубокий.

1972

СТРАСТИ СТРАНСТВИЙ

И двигатели грянули в тамтам!
Их гул на эхо дальнее помножен,
как будто бьют ладонью по горам,
обтянутым тугой и звонкой кожей.

И сердце пробудилось, и глаза
опять хотят нетронутых просторов.
И снова страсти странствий развязал
томившийся по воле вольный норов.

Как зябнет без движения душа,
как ёжится в глухом плену покоя.
Возможно ли, судьбы не вороша
наполнить жизнью бытие пустое?

Найдут ли пальцы глину и металл,
вдохнут ли ноздри свежий дух вселенной?
Кто дни страстям под ноги не метал,
с ног не стряхнет ни тленности, ни тлена.

Шипит вода в крутых развалах волн,
и круто крутит крутобокий ветер;
И тает пирса вымокший бетон,
и тянет дождь свои косые плети.

Душа глотает время, как баклан,
мешает ночи с днем и солнце с тенью...
А двигатели бьют в большой тамтам –
зовут к тревоге и к ненасыщенью.

Японское море, 1968

СИБИРЬ НЕ ПРИНИМАЕТ

Сибирь не принимает.
Вся Сибирь на сутки закрывается.
Туманы
снега, пурга
задёрнули её
от осыпей Урала
до витимских таёжных круч.
И все, кто собирался улететь
в её простор,
наполнили до крыши
огромный аэровокзал.
Их столько, что стеклянный этот айсберг
туманится от влажного дыханья,
от дыма сигарет
и от сырых пелёнок.
И что-то чудится от чума,
от яранги,
от старых изб
и от палаток
на берегу раскидистой реки.
Как будто бы пришли переселенцы
и всё ещё не ясно, не обжито,
всё временно и только ещё будет
то,
для чего идут в далекий край.
Пьют бурую бурду с названьем «кофе».
Жуют третьегодняшние котлеты.
А там на красном низеньком диване
в бумажные стаканы разливают
сухое красное – бутылка на троих.
Без денег (все спустили в тёплых землях)
Без мужа (он на прииске далёком).
Без жен (они остались доживать

с детьми у бабушки под Тулой и Рязанью).
Без времени (дорога велика,
а отпуск кончился впритык к отлёту,
задержанному чёртовой погодой).
Так и живут, гуртуясь возле стоек,
спят, в кресла неудобные осев,
вбивают домино в бок чемодана,
в тяжелом сне перележав бока.
И всё это – потерянное время,
пустые сутки, брошенные зря
по прихоти, по женскому капризу
Сибири,
которая не принимает
и не желает принимать.
Закрылась
в туманы и пургу,
в снега и ветры
и сразу оказалась
пространным миром, замкнутым в себе.
И люди ждут покорно,
когда Сибирь откроется,
когда изволит принять их...

1968.

МИР ОСЕННИЙ

Прозрачен, пуст и тих осенний мир.
Сойдя в него,
первоначально
встречаешь пустоту и тишину.

И только позже,
присмотревшись, прислушавшись,
вдруг замечаешь:
там, на холме расположилось стадо,
и несколько коров бредут вразброд.

И матерное слово пастуха,
вослед им пущенное без стесненья,
за три версты так ясно слышно,
как будто бы оно обращено
не к тёлке непослушной,
а к тебе и ко всему живому на земле.

В глубокой первозданной тишине
оно звучит почти как Слово Божье,
произнесённое пред сотвореньем мира.
И непотребством заключенным в нем,
пастух всесветно о себе вещает,
как об Отце телушки,
о Творце всего, что суще тут, в осеннем мире...

И Слово здесь не кажется похабным,
оно растормошило тишину
и разразилось творческим глаголом.

А вслед за ним явился сам пастух.

На фоне облаков
он шёл по взгорью –
кнут на плече,
котомка с хлебом-солью,
нимб солнца над измятою фуражкой
и выпуклость земли под сапогом.

Он шёл вослед коровам,
средь берёз,
по ельнику,
по лугу,
по низине...

И в мир пустой вселялось Бытие.

1969

* * *

Леса – пристанище деревьев,
пожухлое жильё осин.
Пришли, усталые, с кочевья,
стоят, не разгибая спин.

И кособоко, и неловко
ждут по полгода напролёт,
когда сварливая золовка
погреться к солнцу позовёт.

Тогда они разуют лапти,
онучи бросят под порог.

«Таперича не грех поспать бы,
поколе отдых подал Бог».

Да, видно, по такой погоде
и дома им не до спанья –
ждут грядки в скудном огороде,
и тянет тощая семья.

И не присев, не отдохнувши,
золовке не сказав двух слов,
их непоседливые души
опять бредут среди холмов.

1969

СПОЛОХИ

Грозу свалило к долине,
в облаках завязалась звезда,
но синё от сполохов синих –
синим пламенем горит вода.

Фиолетовый огонь стекает с веток,
в лужах светится холодная ртуть.
Ночь встревоженная
сполохом раздета,
обнажённая не может уснуть.

В каплях прячутся тревожные искры,
как в спирту, сгорают сады.
Всё дрожит от сполохов быстрых
блеском льда и мерцаньем слюды.

Молний нет и огонь не жжётся.
Тише тишь, тьмы крепчает креп,
и стекает на дно колодцев
рваный свет отгоревших судеб.

1952

* * *

Приишимье завернулось в индевелый лён берёз.
Прииртышье запахнулось в снеговой тулуп
метели.
Серебром берут сегодня на реке за перевоз –
по целковому с копыта
заработать кто-то целит.

Там,
на льду,
у тальниковых заржавелых хворостин
перья лебедя рассыпала приточная речушка.
Надери с полей
суровых, солнцем беленых холстин –
выйдет простынь
и получится подушка.

Заплачу за перевозы все полтины и рубли.
Я приеду – гол как сокол,
без полушки и без гроша.
Ты мне тёплую постель у Приишимья постели,
рано утром проводи до Прииртышья по пороше.

1966

* * *

Снег, придавленный лыжей,
визжит по-собачьи.

У собаки на морде свалявшийся иней.

Так мороз всё запутал и переиначил,
чтобы я не прошёл
в незнакомой долине.

Побелёсела высь,
а снега посинели.

Посветлели глаза,
потемнела душа...

Неужели земля доживёт до апреля,
этим неколебимым морозом дыша?

1966

* * *

Жгут листья.
Пряный пьяный дым
течёт, как мёд, между стволами.
Вхожу в осенние сады
сквозь дым и мёд,
сквозь мёд и пламя.

Кострами тихими до дна,
до искры вычерпано лето.
Мне осень дымная дана.
Душа, как яблоня, раздета.

Но сладость мёда есть,
да, есть
в дыму сырых и жухлых листьев.
И благо,
что в душе не жесть,
а тёплый дым, плывущий в выси.

1971

ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ

Кар! Кар! Карусели.
В них вороны, – кар! – и сели,

сели сонные сычи, сели чёрные грачи,
сойки, совы, свиристели
угнездились в карусели.

Все ли сели в карусели?
В карусели сели все ли?

Сели птицы, птицы сели!
Ну, кружитесь, карусели!

Тут синички-гаечки подкрутили гаечки.

Речной сверчок закрыл крючок.

Появился ворон, запустил мотор он.

Карусели заскрипели,
карусели полетели
через сосны, через ели,
через зимние метели.

Ну, а если не успели
сесть на птичьи карусели?

Не успели?
Не успели!
Значит, сядете в апреле.

1971

* * *

Море труженик вечный
и волны его – это мышцы
в бесконечной работе.
Инструменты: вода и зелёная соль,
и тяжёлые брызги на взлёте.

В скалах грохот, удар догоняет удар,
словно клинья вбиваются в тишь плоскогорья;
глыбы воздуха рушатся,
шквал, как обвал –
это трудится море.

Перемалывать камни в мучнистый песок,
ткать медуз из прозрачного шёлка без счёта,
рыб вытачивать из серебра и слюды –
труд рабочего и ювелира работа.

А легко ли
веками таскать на плечах
корабли
и держать якоря, когда бешенство душит!
Море злится
и криком наполнен эфир,
и отвага выходит спасать чьи-то души.

Но опомнившись, снова за вечный свой труд:
за палитру и кисть
и за молот гиганта.
Снова скалы ломает,
растит облака
и гранит бриллианты.

1959

* * *

О маленькое чудо осени –
комочек звона тонкого и перьев.
С каких планет
в осенний мир заброшены
наивность
и беспечность,
и доверье.

Чуть слышно,
еле видно.
В неприметности
есть странная и медленная сила –
она тихонько разрушает крепости,
но не находит у людей мерила.

Бесцельна и бездумна,
и бессмысленна
бескрайность мира
поместилась в птахе.
И сердцу хорошо,
узнав, где истина,
тревожно ёкнуть, сжавшись под рубахой.

1962

III. ЛИЧИНЫ И ЛИКИ

* * *

Лицо за решёткой тяжёлых морщин –
год на год,
крест на крест,
замок на замок.
И старость
с тобою один на один.
И ты в одиночке устало замолк.

Остались на воле друзья и враги.
Там прошлые ветры и прошлые дни.
И кружат ещё по озёрам круги
от прошлых камней, что заброшены в них.

Там прошлые губы и прошлая плоть,
и прошлые птицы на прошлых суках,
и зёрна,
которые надо смолоть,
и руки,
которые будут в руках.

А тут – нет грядущего.
Время стоит.
Грядущее в прошлом осталось навек.

И кто-то другой у пушистых ракит
со смехом бежит по весенней траве.

1968

* * *

Мир старых фотографий молод,
он к выцветшей стене приколот.

В овальных рамках и в прямых –
созвездье франтов и франтих:

лебяжья шея рядом с фраком,
перо склонилось к шапокляку.

Все молоды и все в расцвете
и были ж все на этом свете...

Мир старых фотографий молод,
он холод пережил и голод,

он здесь, он рядом – бок о бок,
и, как созвездия, далёк.

Из всех светил его (о жалость!)
старушка блёклая осталась –

как в телескоп, глядит в лорнет
на сонм исчезнувших планет.

1971

УСПЕХ

Он выиграл,
сорвал все куши,
он всех и вся переиграл.
Теперь его гордыня душит,
и ввысь возносит пьедестал.

Он распираем самомненьем,
самозначеньем упоён;
и каждодневное кажденье
как должное
приемлет он.

Твердит в десятый раз и в сотый
всё о себе
для вся и всех,
с одной-единственной заботой
расширить собственный успех,
раздуть, раздвинуть, растрезвонить,
по всем базарам развезя...

Успех его подобен вони:
тошнит, а не дышать нельзя.

1982

СКРОМНИЦА

Заботою исколота – укол на каждый шаг –
достаточно ли золота на пальцах и в ушах?
Ещё цепочку надо бы, и – счастия гарант –
для полного парада бы –
приличный бриллиант...
Надеждой сердце полнится,
хоть планы не просты.

Ах, девушка, ах скромница!
О девичьи мечты...

1982

ЛИЦЕДЕЙ

Вертясь у зеркала,
не избежал искуса –
бородку подчесав и так и сяк,
своё лицо
под облик Иисуса
подладил он
и не попал впросак:
и волосы до плеч,
и синь подглазий
(намёк на глубину сердечных ран)...

На «вечерю» собрался –
попроказить
с девицами в соседний ресторан.

1979

ОЧЕВИДЦЫ ПОНАСЛЫШКЕ

Вот странники,
что странствуют, не двигаясь,
страдая ожиреньем и одышкой.
Власть века,
или просто мига власть
их превратила
в очевидцев понаслышке?

Едва из кресел в кресла
сдвинут чресла –
уже Нью-Йорк, Мадрас или Париж.
Всё видели, всех знают...
Ну, а честно –
чего из мягких кресел углядишь?

О простота перемещений дальних!
Стираются детали,
всё общо.
Любительские снимки сцен банальных,
банкетов,
банков,
трестов
и трущоб...

Аэропорт. Авто. Асфальта твердь.
Отеля герб на чемоданной крышке.
Садятся очевидеть, лицезреть
туристы –
очевидцы понаслышке.

1976

* * *

Делёж наследства в доме престарелых.
Былая слава – грудой золотых.

Для них она ещё не отгремела,
хотя давным-давно ушла от них.

И призрачные мёртвые монеты
они хватают хлипкою рукой.
И отсветом погасшего рассвета
мерцает их упрямый непокой.

Забытые, былого не забыли,
свой пыл не отпустили на распыл.
Легенды им – как будничные были.
Что из того, что мир о них забыл!

Они сегодня – в дне своём вчерашнем.
Им дела до сегодняшнего нет.
От прошлого
им радостно и страшно.
Как гром –
безмолвье призрачных монет.
Рвут друг у друга,
прячут по карманам
иль пробуют, вставной подставив зуб...

И словно тени на немом экране,
себя в карете прошлого везут.

1969

* * *

Славьте мёртвых!
Заслуги их превозносите,
восхваляйте их скромность, их веру и взгляд.
Что сегодня не годно –
отсейте в своём историческом сите,
что годится –
из бездны забвенья верните назад.

Выбирайте цитаты, желаньям живых угождая,
афоризмы ищите, что годны на все времена.
Есть в творениях мёртвых
струя бесконечно живая,
есть в оркестре усопших
звучащая вечно струна.

В их садах тяжелеют плоды,
в их стадах бродят тучные агнцы,
в книгах собраны соки извечных наук,
под знамёна их снова и снова идут новобранцы,
драгоценным вином переполнен их старый
бурдюк.

Отрастает у них всем доступное дойное вымя.
«Нет» не скажут они,
значит, есть только «да».
Есть у мёртвых одно преимущество
перед живыми:
и к хуле,
и к хвале
равнодушны они навсегда.

1970

ИЗВЕСТНОСТЬ

На виду у ста миллионов,
привычно глядя в глаз телекамеры,
демонстрировать свою скромность.
Сказать в микрофон
с простотой и сердечностью
несколько тщательно выученных фраз.
Очаровать зрителей улыбкой,
отрепетированной перед зеркалом.
Истово облобызаться со знаменитостью
(если представится случай)
и тем показать,
что ты – не меньшая знаменитость.

Экстравагантно или подчеркнуто просто
одетым
пройтись по улице,
устремив глаза в никуда,
но зная, что на тебя направлены взоры всех.

Появившись в кругу незнакомых знакомцев,
показать, что ты примерный муж
или любящая жена.

Заранее зная, что все заметят,
погладить ребёнка,
поклониться в ответ на поклон швейцара,
подарить стюардессе преподнесённые тебе цветы.

Покровительственно целовать в голову
тех, кто менее известен, чем ты,
но может быть тебе полезен.
Шумно напоказ лобызать при встрече
себе равных.

Разговаривать со знакомыми так,
чтоб вокруг сразу вырастала кучка
любопытных.

Всё это надо делать легко
и непринужденно.

И ещё.

Для утверждения своей оригинальности
нужно овладеть чем-то этаким.
Научиться блестяще играть на бильярде,
курить гаванские сигары
или приобрести экзотический перстень...

Таков краткий перечень
того, что надо уметь
и что умеет делать
всякий мало-мальски известный человек.

1969

* * *

Запрятать рукопись!
Не дать профессорам
над гением глумиться после смерти!

Измерьте непотребство их и срам,
бесстыдство их учёное измерьте!

Возьмите жухлый перечень трудов,
послушайте, как зазвучит бесчестно
слюнявое сюсюканье их ртов
там,
где одно молчание
уместно.

Счета, записки, мелочь соберут,
клозетные листки занумеруют,
чтоб нацепить за канцелярский труд
звенящих званий выспреннюю сбрую.

Свои способности и свой убогий лоб
так изукрасят славою чужою,
как будто гении, хвалимые взахлёб,
лишь из-за них теперь чего-то стоят...

И разделив классический пирог
пером из лучшей золочёной стали,
не Пушкин, не Есенин и не Блок –
профессор Имярек стоит на пьедестале!

1970

КРАСАВИЦА

Обмякла, одрябла,
щёки висят,
в пояснице почти неприметно,
а всё же согнулась.

Ещё одевается ярко
и так говорит,
чтоб все слушали,
все обращали внимание,
оборачивались,
спрашивали: «Кто такая?»

К женщинам
покровительственно-снисходительна,
к мужчинам
сдержанно-настороженна.

И лишь по этим повадкам,
немного странным, немного смешным
для пожилой,
можно догадаться:
когда-то была красавицей.

И так пронзительно-грустно
смотреть на неё.

1972

ПОКОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ

В грязном воздухе
грязной тиной
тянет дым перетягом тугим,
замучённой, кручёной пучиной
в небеса опрокинут дым.

Заводские дворы,
города ли,
то ли свалок чадящая гниль...
Перечёркнуты дымом дали,
перетёрты в копоть и пыль.

Придушённая дохнет природа,
глохнут реки и чахнут леса...

То,
несущий в утробе урода
Покоритель Земли поднялся.

Он безлик многоликостью тощей,
мозг – в тумане расчётов и цифр,
и вздувает безумною мощью
мышцы рук и разросшихся икр.

Он готов в одночасье и в год –
ни сомненья, ни жалости нет –
за пригоршню сегодняшних выгод
истереть в порошок белый свет.

Сам себе произносит приказы –
их язык и убог, и упрям,
в них пластаются пятна проказы,
волочась возле свалочных ям.

Сам себе,
для себя,
о себе лишь...
Замкнут круг себячтимых орбит.
Грязь любую в их недрах отбелишь
и придашь привлекательный вид.

Но отрава пребудет отравой.
Как ни бейся, её не прейдёшь,
на себя всей своею оравой
направляя отравленный нож.

Воздвигайте ж из пепла и тлена,
оптимизмом себя веселя,
страшный памятник нашей вселенной –
ад земной
на планете Земля.

1970

* * *

Лепит в лужи лотерейные билеты –
лепесточки трёхкопеечной мечты,
лоскутки,
в которые одеты
ненадёжные надежды
и желанья, что так робки и пусты.

Лотерея,
лотерея,
лотерея...
Срок прошёл
и открутился барабан.
Ветер перья лотерейные развеял.
Новый срок надежде
снова дан.

Хрустки розы обещаний лотерейных.
Вот теперь-то
повезёт наверняка!
Вам хотелось по стаканчику портвейна,
а получите
бутылку коньяка!

1962

* * *

...И человек становится великим.
Теперь лицо его зовётся ликом.

Все радости его
и все печали
историки заносят на скрижали.

И только где-то
на обрыве сердца
былинкой встала песенка из детства.

И только как-то,
удержавшись зыбко,
ещё живёт далёкая улыбка.

Всё это называют мелочами,
а в них – смысл радости,
а в них – зерно печали...

1964

* * *

Что нужно для рожденья красоты?
Обсосок фиолетовой помады,
осколок зеркала,
сгустившаяся тушь –
и больше ничего не надо.

Мерцают губы, светятся глаза
и на щеках напудренная свежесть...
И эта яркость, острая как боль,
вонзается в глаза и сердце режет.

1959

* * *

Промозглым утром
все сдают бутылки.
Сдают опустошённое веселье,
сдают вчерашний праздник,
прошлый смех.
На дне
две капельки воспоминаний пылких,
две искры неприкаянных –
их выливают сумрачно
на снег.

Здесь очередь,
как жизнь людей смешала.
Старик свою бутылку шарит
в кармане дряхлого пальто.
Последний раз...
Так много и так мало
он видел праздников
и пил, и пел, и говорил не то...

И девушка.
Синь за ресницами,
синь под глазами,
и в голове предутренний сквозняк.
Смущённо
в сумке горлышки перебирает
непослушными руками,
испуганно косится –
не увидел бы кто из знакомых
и матери
не рассказал бы, что и как...

Старик и девушка –
две недопитых капли,
две капли, пролитых на истолчённый снег.
Одна скатилась под ноги,
другой кристаллик вкраплён
в снежинки,
затаившие свой смех.

1965

* * *

О балагуры,
остроумцы,
говоруны
и крикуны!
До самой прели
преть готовы
и ваши языки
курками
навек надёжно взведены!

Хвалить иль хаять –
равной хваткой
берётесь – был бы свыше зов.
Надёжна в памяти обойма
из двух десятков нужных слов!

О зубры,
знатоки
и доки:
шербет, шартрез и шашлыки...

Надёжна после слов –
поджарка,
а вы
надёжны как штыки!

1965

* * *

Приходит к старости
благообразность,
уходят в прошлое все острые углы.
Как будто бы елеем лица смазаны,
носы округлы,
головы круглы,
очки прозрачны, как глаза младенца,
безгубый рот лишь истины речёт
и, вытертые чистым полотенцем,
вставные зубы – все наперечёт.

А было, было...
Что когда-то было!
И дралось, и мечталось, и спалось,
и с губ срывалось бешеное мыло,
и головы летели под откос!

...Под утро
снится, как жилось и пелось,
любилось меж перин и средь травы...

Проснётся,
а в стакане рядом –
челюсть
глядит
оскалом мёртвой головы.

1965

* * *

Все памятники
в снегопад
нелепы.
Великий снег их делает смешными.
Такого им, в таких местах налепит,
что хоть стирай из-за конфуза имя!

В платок по-бабьи наряжён
писатель.
Философ нацепил песца на фрак.
Актёр стал длиннонос как дятел,
поэт
клешнят и мелкоглаз как рак.

А снег всё лепит,
с грубою издёвкой
глумясь над тем, кем всякий восхищён.
Прохожие смеются.
Им неловко,
но что поделать, коль кумир смешон!

И всё из-за чрезмерности бескрайней,
из-за того, что снег
без всяких мер
набросан
и навален здесь случайно:
без стиля,
без искусства,
без манер...

Великий Снег,
он падает без меры,
не становясь от этого смешным.

Наверно,
есть величия пределы,
да мы
кумиров мерим не по ним.

1964

* * *

Учитесь у осенних мух
солидному жужжанию.
Жужжание поднимет дух
и привлечёт внимание.

Наполните жужжанием
контору и собрание.
Жужжанье как призвание
вам принесёт признание.

Вы людям прожужжите слух,
жужжа в любое ухо,
что вы жужжите лучше мух,
а, значит, вы не муха!

1971

IV. ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ

* * *

В бессмысленной, настырной толчее,
где всё рассчитано
и всё – напропалую,
намалевав серьёзность на челе,
чиновники
толкутся и толкуют.

Я бестолков к толковым их речам,
ведь бестолочь толочь – какая новость!
Перетолковывать толковым толмачам
передаю чиновничью толковость.

И ухожу,
чтоб без толку стучать
корявой палкой в светлые рассветы,
чтоб ждать, как солнце встанет на лучах,
как из бутонов
вылупится лето.

1964

* * *

Пустой значительностью полон,
чванливо должностью кичась,
глядится он Наполеоном,
калифом сделавшись на час.

В тяжелой шляпе, в габардине
и в брюках дорогих мешком.
Всё, что новей него – отринет,
всех, кто умней – сомнет тишком.

Вниз – изойдет слюной от брани.
Вверх – закусив язык, юлит.
Кто не по нраву – в рог бараний,
по нраву – в миг озолотит.

В конторе, в тресте и в отделе,
куда ни брось – везде хорош.
Всю жизнь проводит он при деле,
да только дела ни на грош.

1968

* * *

Не жизнь, а жухлый том «записок»,
где дни –
как стёртая строка.
И словно кожура сосисок,
перчатки в сморщенных руках.

Обвисшее пальто и шляпа
давно увяли, как лопух.
Их пылью дряхлости заляпал
пух серой мысли и прорух.

Жизнь
канцелярским коридором
прошаркала швырком калош,
напичкала
чернильным вздором
и суетой безликих рож.

И вот теперь –
одни ошурки
(припомнишь – в горле запершит),
лежат как горькие окурки
на дне прокуренной души...

И все ж
он
не без самомненья.
Хоть мненье о себе самом,
как худосочное растенье,
заложенное в жухлый том.

1968

* * *

Казённый небосвод казённых звезд
для различенья человеков создан.
Тому – одна звезда,
другому – горсть и гроздь –
чтоб различались не по лицам,
а по звёздам.

В казённом небосводе есть луна,
чтоб из неё
казённые портные
нарезали резного галуна
и оттенили звёзды накладные.

Казённый небосвод
и стар,
и нов.
С варягов начался он,
то ли с греков...

И люди потерялись меж чинов.
И звёзды заслонили человеков.

1968

ТРЕЗВЕННОСТЬ

Ужасна трезвенность тупого бытия.
По-канцелярски дни подшиты в «Дело».
Дела... дела...
А где же в деле Я?
Где жизнь м е н я за делом проглядела?

Часы – канцеляристский механизм –
размеренно и трезво мерят время:
от сих до сих...
А чем же мерить жизнь?
Кто мерку спрятал в мёртвой теореме?

Кто трезвенностью залил до ушей
всех до пьянчужки, вспухшего от пьянства,
и постным сахаром
тарелку кислых щей
подслащивает с редким постоянством?

Какой неслышный медленный паук
нас оплетает трезвенностью чинной?
И даже зов любимых глаз и рук
смиряет канцелярской мертвечиной?

И почему же, от каких щедрот,
без понужденья,
по оглядке,
сами
для песни робко приоткрытый рот
сжимаем вдруг стальными челюстями?

Но трезвость наших глаз и наших уст
таит предчувствие под маскою унылой:
созреет в сердце ягода безумств –
и всё взлетит от животворной силы!

1968

* * *

У канцелярской скрепки
объятья нынче цепки.
Захватит пук страниц –
и сразу падай ниц.
Прихватит два листочка –
вот тут тебе и точка.
Пришпилит ряд статей –
не соберёшь костей.
Судьбу подколет к швали –
и поминай как звали.

1999

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Открываю окно
и впускаю первый снег.

Он ложится на стол, на бумаги.
На зелёном сукне канцелярском
ранний снег – как на мёрзлой траве.

Я смотрю – он съедает чернила,
он печати мусолит...
От «входящих» и «исходящих» номеров
остаются набухшие кляксы...
Всё погибло!
Теперь ничего не понять!

Лишь одно мне понятно:
сейчас первый снег.

Я впускаю его, разбросавши
замазку, проклейку и вату –
всё, что сделано для утепления рамы.

Первый снег,
снег сырой и стремительный,
входит он в надоевшую комнату эту,
где плоская плесень оплела потолок,
чтоб напомнить мне: осень в разгаре!
Чтоб напомнить: мир снега огромен,
и работа его велика –
всё засыпать – квадраты полей непомерных
и вот это убогое поле стола.

Я впускаю его –
пусть побудет,

пусть расскажет он мне о просторе
и о ветре,
и о непогоде,
и о сумерках долгих осенних,
за которыми
стынет зима.

1968

* * *

Мне предстоит встреча с чиновником...
Разумеется,это мелкий чиновник.
Но как бы он ни был мелок –
всё равно он крупнее меня,
просителя,
одолевающего робость при подходе к столу.

За столом Некто...
От волнения не могу разобрать лица...
У него, словно у манекена,
могут быть подведённые пухлые губки,
могут быть усики,
могут быть кудряшки,
или бородка...
Всё может быть.

Всё это не важно.
Важно лишь то, как взята моя бумага,
с какой скукой и равнодушием.
Затем следует недолгое раздумье:
чиновник соображает
и, наконец, находит нужное решение:
– Это в соседнем кабинете.
Там прием по средам с 10-ти до 17-ти.

Вот ведь! По средам!
Сегодня же четверг...
Ничего не решено, не сделано, не выяснено,
а как радостно,
как легко от того, что можно уйти
и до среды не думать о бумагах и чиновниках!

1997

ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ

В душные дни
солнце останавливается напротив моего окна
и не хочет уходить.
Оно жжёт часами, не двигаясь.
Бумаги скручиваются и желтеют,
руки обугливаются,
чернила выкипают,
выцветают печати,
голова морщится наподобии сушёной груши.

А солнце всё не хочет уходить.

Нравится ему смотреть в канцелярскую комнату?
Хочет оно выучиться делопроизводству?
Желает разобраться в ведомостях,
инвентаризационных актах, заключениях,
справках, рецензиях, запросах, инструкциях,
указаниях, распоряжениях, приказах,
уведомлениях и других «входящих» и «исходящих»?

Не потому ли солнце стоит на месте?

Но
может быть,
другое...
(Какая мысль... Почти кощунство...
Или это бред от чрезмерной жары...)
Может быть
оно хочет...
(Трудно произнести даже про себя!
Нет, нет... Чур меня, чур...)
Может быть оно хочет
сжечь бумаги, испепелить канцелярию,
высушить меня окончательно
и выдуть вместе с пылью
вон,
чтоб остался
только мир полный солнца?

1971

V. БАЗАРНЫЙ БЕС

ПТИЦА СКОПИДОМ

Чудовищная птица Скопидом,
откладывая вещи,
словно яйца,
повсюду громоздит своё гнездо,
за всех когтями цепкими цепляется.

Выходит из яиц
не швец, не жнец –
в них тоже вещи,
но ещё похлеще:
магнитофонной глоткою птенец
вещает, чтоб к вещам тащили вещи...

В вещах с вещами
(хоть порой без щей) –
на шее вещь,
на пальце вещь,
на ногте...
Залезли в вещь
и едут вдоль вещей
добыть вещицу «ну, вы просто охнете!»

Садится Скопидом, но не на дом –
хитрей она среди людей гнездится –
ей вся судьба становится гнездом,
и вьёт её чудовищная птица.

1984

ЗЕЛЁНАЯ КОПЕЙКА

В кошёлках у метро – зубчатка патиссона
и луково перо, и яблоко ядрёно.

С окраин прибрели платки да кацавейки,
спеша вогнать в рубли зелёные копейки.

Лик неказист и рост... Одёжка? Пусть нелепа.
Итог труда их прост как истина, как репа.

В землице пальцы их, в навозе их калоши,
но городских франтих, не глядя, облапошат.

В петрушку – чернобыл (сорняк идет не всякий) –
чтоб притчу не забыл про плевелы и злаки.

Расход наш – им доход. Переплатил? Едва ли...
На то и щучий ход, чтоб караси не спали.

Зато какой кочан, каков петрушкин корень!
Лук даже сквозь колчан так кошельки и порет!

И редька: ай-люли! Сок помидора – пей-ка!
Стручком трещат рубли – горошина – копейка.

1979

* * *

Боюсь владельцев дач,
страшит меня их милость.
Из многих неудач
удача их сложилась.

Калитка – словно лаз,
участок мал и узок.
Прищурен хваткий глаз,
и губы – вроде гузок.

Проходишь мимо ты
и чувствуешь всей кожей
дыханье немоты,
которая их гложет.

Над вёдрами песка,
над кучей перегноя
убогая тоска
лишила их покоя.

Осевшее бревно,
подгнившие стропила...
Их помыслы давно
забота затопила...

Когда из неудач
решишь создать удачу,
пройдись вдоль старых дач,
подыскивая дачу.

1969

БАЗАРНЫЙ БЕС

Как благодушие спокойно и безлико.
Но вдруг все рты скривило поперёк –
над улицей кошачьим криком
истошно шаркнуло: «Украли кошелёк!»

Базарный бес, шныряя меж рядами,
кому-то рогом сунул под ребро,
и все взбесились, позабыв о сраме,
рукой бесовской пущены хитро.

Вся дребедень, вся мелочь дел житейских,
вся скукота глухих зевотных спазм
задёргалась в каком-то буйном действе
и всех, кто был, объединила враз.

«Держи вора!» Навыворот, как рвоту,
несёт обезумевший в гоне люд.
На миг забыть знобящую зевоту, прыщавый блуд
и бледность постных блюд.

Топчи ногами, палкой бей и камнем!
Хлещи верёвкой, хряпай кулаком!
О сколько страсти в лике истуканьем,
когда он бесом к пропасти влеком!

Пока вокруг тузят и в хвост и в гриву,
не ведая, где свой, а где чужая рать,
базарный бес, подхохотнув глумливо,
отправился на биржу поиграть.

1967–1999

ДОБЫТЧИКИ ПИЩИ

Жарища ли жарится, вьюга ли свищет –
снуют по продмагам добытчики пищи.

Всё знают:
где много чего, где немножко,
где ножки «дают», где рожки́, а где ро́жки.

Пронюхают через стену и витрину
белугу, балык, лосося, осетрину.

Добытчик – знаток, он удачливый дока:
в яйце петушка угадает до срока.

Чуть в очередь –
всех перечтёт, всё прикинет,
его ли кому провести на мякине...

Идёт в магазин,
как грибник и охотник –
он выведал место –
одно среди сотни.

Себе на уме он –
нет тёртей и мятей.
На то и осётр,
а не килька в томате.

1973

ПОСЛЕДНИЙ МЕРИН

Наивный запах лошадиного пота
в тесном дворе у овощной палатки.
Смирный мерин, придавленный работой,
грустно размышляет о торговых неполадках.

Воздавая должное моркови и капусте,
он копает глубже, забирает выше –
тут никто так вдумчиво не судит
об искусстве,
пробежав плакаты и пожевав афиши.

Мерин разбирается и в овсе, и в сене,
и вопрос о стойле его волнует тоже...
Он мешкам с картошкой в этот день
осенний
многое сказал бы, да говорить не может.

И грустит, не понят и никем не признан,
в куль слезу роняет и бормочет что-то
глыбам серых зданий, скушных,
словно призма,
миру электроники, ракет и самолётов.

1952

ЖЕСТЯНАЯ МЕЧТА

Мечта не ведает износа.
Мечтают напролёт всю жизнь:
купить жестянку на колёсах
и в ней по городу кружить!

Выпендриваться, лезть из кожи,
влезая под лазурный лак,
и на задумчивых прохожих
смотреть, как на босых бродяг.

Найдётся ли бледней причуда:
с улыбкой холить эту жесть
или терзаться, что полуда
от брызг и пыли может слезть.

Священнодействовать в моторе,
лежать в мазуте на земле
и горевать безмерным горем
при виде трещин на крыле...

Быть именинником счастливым,
когда вдыхая гарь и газ,
рулишь по уличным извивам,
своей машиною гордясь.

И радоваться днём и ночью,
как выхолена и чиста
в своём жестяном худосочьи
осуществлённая мечта.

1968

БАЗАР

Базарная торговля.
Жалость...
В тине
не раки, а рачишки – как сверчки.
С десяток их лежит на мешковине,
клешни закрючив скрюченно в крючки.

Торговец:
бородёнка и шляпёнка.
Хитрит:
«Дешёвка – штука пятачок!»
Но нет любителей,
и только две девчонки
попались, будто мелочь на крючок.

Визжат,
хихикают,
как рака взять не знают...
Рыбак в карман кидает медяки.
И пятаками старыми
сползают
по мешковине жухлые рачки.

1965

СРЕДИ ВЕЩЕЙ

Здесь живет человек, любящий вещи.
На всём, что его окружает
незримо, но броско написано:
Вещи – смысл бытия.

Вот его дом.

Фасад отделан дубом,
как величественный гардероб –
панель к панели, добротно
от нижнего до верхнего этажа.
Окна зеркального стекла
непроницаемы для взгляда.
Подъезд, словно полированный шкаф.
Ручка двери сияет начищенной литой латунью –
к ней боязно прикоснуться
(не остался бы след от руки...).
Лестница
настоящего тёсаного камня.
Дверь в квартиру –
шедевр краснодеревщика:
взглянув, не открывая видишь,
какие за ней просторные, удобные комнаты,
какие дорогие вещи.

А вот и человек.
Светло-серый летний костюм
только что от портного.
Человек садится в светло-серую новенькую машину.
Хлопает дверца.
Человек сливается с автомобилем.
Сквозь стерильную прозрачность ветрового стекла
видно лицо –

абсолютно спокойное,
абсолютно правильное
с уверенными узкими губами,
светло-серыми (под цвет костюма и машины)
глазами.

Мягко включается мотор.
Машина старательно объезжает меня.

И на миг
я встречаюсь взглядом с её фарами,
а затем с глазами её владельца.
В зеркале рефлекторов и в его глазах
виден отделанный дубом дом, подъезд, дверь,
квартира –
всё, что он любит, всё, что есть у него.

Он объезжает меня,
как объезжают столб или дерево.

И мне становится страшно.

1972

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Новенький автомобильчик
врезался в самосвал.
Оболочка лопнула,
как пасхальное яичко;
потёк бензин,
смешанный с тем, что осталось от владельцев,
и чёрный дым выметнулся в небо.

Погибшие
навеки остались в восторге
от восхитительной прогулки.

1982

ЛЕСТНИЦА ПРЕСТИЖА

Одолевая лестницу престижа,
минуешь первую ступеньку
без труда:
что может быть доступнее и ближе,
чем ражая, родная борода!

Ступень вторая
несколько повыше –
бросай престижу денежный кусок.
Ступень взята –
ты на прогулку вышел,
и тянет дог
тебя за поводок.

Теперь – на третью, коли есть силёнка!
Знакомства заведи среди барыг.

И в колер к догу добрая дублёнка
тебя заставит сделать новый вспрыг.

Четвёртую ступень осилишь с бою,
мечту оформишь в жестяную быль:
в дублёнке,
с бородой,
с собакой
и женою
займёшь по праву свой автомобиль.

Решив такую сложную задачу,
ступеньку пятую
одолеваешь враз:
удачно в дачном пригороде дача
завистникам на зависть поднялась.

Удачник ты –
у всех такое мненье,
ты всеми уважаем – это факт.
Остались две ступени:
ожиренье,
и вслед
ступень последняя –
инфаркт.

1983

VI. РЕСТОРАННЫЙ МОТИВ

* * *

По-византийски изукрашен
ресторан – всё в позолоте, в зеркалах,
в дымке белесом.
И
словно чудо полунощных стран –
буфетчица
пудов на десять весом.

Куражатся прыщавые юнцы.
Скворчат котлеты на жиру бараньем.
Разглядывают даму наглецы.
Бездарны сценки в местном ресторане.

Пьют просто, без прикрас и слов
шофёры, гастролёры и майоры;
на позолоту глядя, жмутся у столов,
неловко тычут вилками
и возят ложкой споро.

С мороза, мимоходом, в суете.
Промёрзли: на ветру от самой рани...

И в этой византийской лепоте
одна буфетчица
на месте
в ресторане.

1962

* * *

Жалкая роскошь гостиниц:
позолота дешёвой лепнины,
пуфов пыльная вата,
гардины, ковры и картины –
всё потёрто, потрёпанно, аляповато.

Ресторана никчёмная чопорность.
Неприкаянность пьяниц.
Ненужность кутящих студентов.
Ананасы. Капуста. Рязанец и итальянец.
Всё раздёргано, всё мельтешит,
словно старая кинолента.

Вина сдобрены спиртом,
водою разбавлена водка.
Заливное: «осётром» называют леща.
Переврали мелодию – вместо вальса – чечётка.
Заглушили певичку – два «сакса» вразброд верещат.

Всё проездом, всё мимо. Жизнь на колёсах.
Никогда не увидимся: здравствуй – прощай.
Вечен только швейцар с нагловатым вопросом
у дверей изогнулся: «Не дадите ль на чай?»

Холодными окнами в тьму заклинивается,
рисуется как пошлая мазня на холсте.
Нелепой колымагой громоздится гостиница,
по ступицу увязшая в дешёвке и суете.

1962

* * *

Эй, трубач,
эй, ударник,
эй, певичка!
Расскажите, что такое
жизнь людей?

– Все танцуют,
у всех одна привычка –
просят танец
хлеще,
злей,
и веселей.

Саксофон,
барабан
и погремушки.
Рваный ритм
резв, размашист и быстр.
Джаз диктует шаг
девчонке
и старушке,
подчиняются ему
и дворник, и министр.

Эй, скажи, гробовщик, не скрывая,
что за штука жизнь людская,
в чём она?
– Люди только тем и заняты, что умирают.
Лишь гробами, да смертью жизнь полна.

С пользой трать, милый,
времени остаток:
вот глазет,

это креп и батист.
Дай обмерю от макушки до пяток.
Всех я так –
будь ты дворник, будь министр.

Эх, послушать вас –
жизнь
после пляски
сразу норовит примерить гроб.
Словно не поют взлохмаченные краски,
не мигают звёзды,
и весна капелью не стреляет в лоб.

Разве можно
перья выщипать из крыльев у фантазий,
белое черня
иль чёрное беля?

...Хорошо, что я не барабанщик в джазе
и гробы
специальность не моя!

1962

* * *

По-свиному вина перепив
мосвинпромовского разлива,
кто заметит пролив – недолив
у буфетчицы нагло-красивой!

Не изломит сурмлёную бровь,
не моргнув заберёт недодачи.
Для того и поят дураков,
чтобы умные строили дачи.

И в пудовых атласных руках
недомерная мерит мензурка.

Посетители сплошь в дураках,
и умна лишь буфетчица Шурка.

1969

* * *

Что думала пальма в углу ресторанного зала?
Её обманули, но разве она понимала?

Ей было уютно в табачном тумане белёсом –
здесь холили пальму и чистили пылесосом.

Лишь раз её вынесли.
Ливень хлестал из ушата!
И пальма сломалась, но разве она виновата?

ПРОПОЙЦЫ

Они не сами опускаются,
известно, что они не сами.
Их притяженье принижения
зовёт глухими голосами.

Не разум – плотское влечение,
не мысли – тяга недомыслий
их тащат в тёмные владения
на кособоком коромысле.

И в гарях бытия чадящего,
в его размытости нелепой,
средь мрака неизбывных чащ его
они теперь блуждают слепо.

Жизнь завершилась мутной мутностью,
они ушли ещё до смерти,
и вы
их путь в глухой беспутности
живою меркою не мерьте.

1974

В НЕПОГОДЬ

Ветер, мать его за ногу!
Затеял возню шальную
и стылой метлой
натолкал взашей
народу
полну пивную.

Тут не до пьянки –
лишь бы в тепло
укрыться от хлёсткой стужи.
Водки сто грамм,
сосиски
и хлеб
на ужин.

Пьют
и жуют,
и вдыхают тепло,
и курят.
Но вот из-под стойки
выполз
без ног,
без обеих кистей
человек по-пьяному бойкий.

Распахнут драный шинельный пиджак
с криво пришитой колодкой.
– В честь годовщины
боёв за Москву
со всех па-пра-шу на водку!
Мне было тогда
восемнадцать лет.
Сечас мне за тридцать.

Первый раз перед боем выпил сто грамм.
С тех пор без вина не спится.
Ударила в ноги водка тогда
и руки пооборвала.
Осталась на память одна голова
и ленточка чёрно-алая.
Мой вывод простой: не пейте вина,
чтоб не испортить походки...
Недаром в книжках пишут про вред,
который от пива и водки...
Необразованный вы народ...
Не втолковать вам никак –
в водке весь вред,
а война не в счёт и стужа,
и ветер – пустяк...
Моё предложенье:
последний раз
выпьем в честь годовщины
и больше не будем вином отмечать
даже тёщины именины!..

...А ветер хлестал и кричал, и выл,
и лязгал зубами от стужи.
И только в пивную пришла тишина.
Был тих этот скорбный ужин.

1967

VII. ШУТОВСКОЙ КОЛПАК

ШУТ

Шутом гороховым
кривляться на задворках,
намазав щёки свёклой,
сажей нос.
Пусть зрители рыгают редькой горькой
и смрад
сивухой провонял насквозь.

Бубенчиком на колпаке дурацком
звенеть
и петь осипшим петухом,
кривляясь, в ноги ряженым кидаться
иль гордо ехать на свинье верхом.

Личина скоморошья крепче шлема,
прочнее лат лоскутья на плечах.
Весь на виду,
но словно бы за стены
запрятался ты в шутовских речах.

Плевки да смех, да тумаки, да льётся
осатаневший вой
сиятельных невежд...
Но ты в броне шута –
всё разобьётся
о латы перелатанных одежд.

1967

МЕЧТАЛЬНОЕ

Поступлю в институт,
научусь на писателя,
стану книги, как семечки,
с ходу лущить.
И сюжет поверну, словно бы выключатель я,
и издателей всех
заберу я в клещи.

Я мотор свой включил –
вы теперь попотейте-ка,
поработайте, взявши мою рукопи́сь!
Ты взлетай-ка,
моя заказная патетика!
Ты, копейка моя,
на сберкнижке копись!

1969

* * *

На совещании поэтов было парно.
От прений по рядам испарина плыла.
В узде процентов, меж задач ударных
Пегас кусал стальные удила.

«Ура! Успех достигнут небывалый!
Есть выдвиженья! Достиженья есть!» –
Отметили овеянные славой
и те, кто к славе только начал лезть.

«Повысить боевитость, деловитость!
Поднять доходчивость! Культмассовость
внедрить!» –
Решили те, что лаврами увиты,
и те, кто лавры только начал вить.

В делах спина натруженно гудела.
Видать, дела Парнаса не легки...

Лишь иногда
поэты
между делом
писали деловитые стихи.

1968

МОНТАЖНОЕ

Поэт монтировал поэму,
вязал строфу из блочных фраз,
вбивал избитую проблему
в сюжетно-типовой каркас.

Привычным выученным жестом
к бетону добавлял металл,
рифмовку штамповал из жести
и строки пристально считал.

Был гонорар
по ставке высшей
за скоростной монтаж и стиль.
Поэт в литературу вышел,
пошла поэма на утиль.

1970

ЭПИГРАММКА

Поэзия его окрылена –
взлетает и тревожит ухо...

Добавим только, что она
всего лишь комнатная муха.

1975

ФИЛОСОФСКОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ

(пародийное)

Бывает в жизни каждого мужчины
мучительный, волнительный вопрос:
говяжьим салом и свиной щетиной
я до ушей решительно оброс.

Как получилось, что со мною сталось?
Как жил я? Спал, свиное сало ел...
И что-то в моей жизни оборвалось,
я как-то незаметно освинел.

Что делать мне? За самобрейку взяться?
Влюбиться? Поллитровок закупить?
Иль, может, просто хорошо проспаться
и чай с вареньем на крылечке пить...

Куплю варенья, водки и рассола,
смешаю, круто солью приперчу,
на крышу влезу в виде полуголом,
заплачу горько и захохочу!

Заплачу над собою я спросонку,
захохочу обратно ж над собой.
Как трудно деловым стать поросёнком
и как легко – обычною свиньёй.

1966

ПРОСТОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ

У дворника резиновый кишечник
замотан в деревянный барабан,
блестит на солнце медный наконечник –
он ставит клизмы уличным домам.

Полезный труд! Тебя я уважаю
и с дворником здороваюсь всегда.
Я б пригласил его на чашку чаю,
да чай не пью – такая вот беда!

Я сам, друзья, был дворником сердитым,
и дворницкая мне известна боль.
Я сделался поэтом именитым,
чтоб пить не чай, а чистый алкоголь!

1966

ПОЭТИЦКО-ЭПИЦКОЕ

Я пиво лопал,
кашу жрал с тарелки,
ел трюфели и устрицы глотал,
к писателям ходил на посиделки,
поэтам лапти лыками латал.

Я приобщился, пристрастился, вырос,
мне этакое что-нибудь подай:
пусти меня на поэтицкий клирос,
разрежь литературный каравай.

Надень-ко мне эпицкую кирасу,
дозволь-ко разлететься во всю прыть
и перед самым пенсионным часом
листом лавровым
лысину прикрыть.

1970

ЛИРИЦКОЕ

Я на работе забурел, я закружился, братцы!
Каких-то дел не доглядел,
к добру не смог добраться.

Плевал бывало в потолок, с плеча рубил и ляпал...
Чегой-то я недотолок, чегой-то недотяпал.

Сидел в берлоге, как бобёр,
забыв о свежем ветре...
Я до чегой-то недопёр,
чегой-то недопетрил,
недотянул, недодержал,
не так прокукарекал,
не ржал, не рыпался, не жал,
недоперекумекал.

Теперь я стану поумней, плясать начну от печки:
я разучу из букварей учёные словечки.

Начну писать про киберне-
тику я постоянно,
пить буду только кабернэ,
смакуя из стакана.

Осовременившись вполне,
стихи обактуалив,
поеду на крутой волне,
нажав на все педали.

1970

РАЗМЫСЛИТЕЛЬНОЕ

Ударила в башку моча –
и места не найду:
«На ча стихи-то мне? На ча?» –
кумекаю в бреду.

Но отливается моча
в глубокий унитаз,
и вспоминаю я – на ча,
и лезу на Парнас!

1982

УРУГВАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Хотя я хорошо владаю
американским языком,
вам расскажу об Уругвае
на нашем русском, на простом.

Скажу вам просто и понятно,
как бабки сказку говорят,
и так приятно, так опрятно
свою куделькy теребят.

У той кудельки шерсть густая
и нет ей краю, нет конца –
вот так же песня, вырастая
даёт слова, как шерсть овца.

Из шерсти той плету стихи я,
вяжу поэмы, шью трико.
Поэзия – моя стихия!
Плыть по стихии нелегко!

А чтоб вас не застала, братцы,
критическая буря вдруг –
из пробковых рекомендаций
спасительный готовьте круг.

Садитесь в шлюпку рецензента,
потом в корабль редакторов,
в мешке из лучшего брезента
храня кудель своих стихов.

И вот, усевшись на бушприте,
под ветром, в буре и пурге
носки редактору вяжите,
да чтобы впору, по ноге!

Избави Бог, не впору выйдет
ваш поэтический носок!..
Но ладно, хватит, всякий видит:
удачный найден образок.

Отвлёкся я слегка от темы:
мол, Уругвай и проч., и проч.,

Об этом пишутся поэмы,
они, как эта – все точь-в-точь.

1966

ХРЯК

(пародийное)

Петух на зорьке прогорланил звонко,
ночь миновала, день вступил в права.
И привезли больного поросёнка
в свинарник из ветпункта с Покрова.

Село Покров! Оно стоит далече.
Идти пешком, так выйдет на весь день!
А хряк больной. Ну кто его полечит
и кто ему пропишет бюллетень?

Свинарка Глаша встала спозаранку,
она и на гулянье не была:
свинья больна – нашла в кустах поганку
и съела, и очнуться не могла...

Ветфельдшер приказал: «Давайте клизЬму!»
И вот всю ночь в свинарнике своём
шагала наша Глаша к коммунизЬму
геройским ослепительным путём!

Она согрела воду, и ромашку
засыпала пахучую в котёл.
Из эМТээС[1] пришел парнишка Пашка.
Стоял, курил и разговор повёл:

«Хлеба-то нынче, Глаша, погляди ты!»
Она ему: «Сто центнеров возьмём!»
А Пашка ей с ухмылкою: «Иди ты!»
Но Глаша настояла на своём.

---

[1] эМТээС (МТС) – Машинно-тракторная станция.

И хряку в этот вечер полегшало –
он глубоко, но радостно вздохнул.
И Глаша засмеялась: «Будет сало!»
И Пашка ей на это подмигнул!

1966

В КУЛЬТНАРЯДЕ

(стихи армейской закваски)

1. РОЯЛЬ И ТАНК

Рояль мне танк напоминает,
когда грохочет он из дали,
ведь пианист им управляет –
газует, жмёт на все педали.

Симфония на развороте –
такой ответственный удар!
Недаром достает комроты
резной дарёный портсигар.

Он «беломорину» закурит
и тихо кашлянет в кулак –
ведь музыку покрепче любит,
чем средней крепости табак.

Искусство уважают в взводе!
Сидим – не звякает медаль.
Гремит, гремит, как танк в походе
концертный лаковый рояль!

2. РЯДОВОЙ МУЗЫКАНТ

Как рядовой в строю
со скрипкой
на сцене музыкант стоит.
С комвзводовской простой улыбкой
Чайковский со стены глядит.

А музыкант наизготовку
берёт смычок и ждёт оркестр,
и целит, точно из винтовки
в краплёный нотами реестр.

Симфония идет нормально,
доволен музыкант вполне,
и скрипка рубит гениально
на средней радиоволне.

3. РЯДОВОЙ КОМПОЗИТОР

Нет, здесь не ноты, не блок-ноты,
не композитор у стола,
а командир большой музроты
вершит и правит муздела.

Прикажет – по ранжиру встанут
лирические песни в ряд,
захочет – лирики отстанут,
уйдут в лирический наряд.

И марши грохнут сапогами,
и стол точёный задрожит –
симфонии пойдут рядами
брать творческие рубежи!

А композитор дальше шпарит –
план перевыполнил свой он:
навалом песен, вальсов, арий,
симфоний – целый эшелон!

4. КУЛЬТАРСЕНАЛ

В моем полит-культарсенале
картины разные стоят,
хранятся, как винтовки в сале,
по росту выстроены в ряд.

Всё ясно – нету здесь вопросов.
Вот это рожь, а тут овёс.
Посмотришь – и берись за косу,
и навивай снопами воз.

Картина учит нас работать,
она зовёт идти вперед.
Увидишь на картине лошадь –
в плуг запрягай – и в огород!

Станок увидишь на картине –
точи детали, не робей.
Не нужен мне увязший в тине
абстракционный воробей!

Я воробья дубовой палкой
из арсенала прогоню,
чтоб не щипал своей клевалкой
мою полит- и культброню!

Картине надобно на козлах
винтовкой встать в ряду других –
тогда она нужна, как воздух,
как суп, как соль, как сапоги!

1966

ВЫКРУТАСЫ КАЧУЧА

Г. Волкову

Я вам расскажу о врачах и рвачах,
Как чахла моча на отёчных плечах,

Как чмокали почки испачканных губ,
Как чавкали черви, напичканы в сруб.

Чувалы с чумизой, как нечет и чёт,
Чубы через чёрную точку сечёт.

Чехона, чехонь, чухлома, чучлома
червоным причастьем чехвостит чума.

Чердак точно череп на чухлом торчке,
и пучится чрево с червём в пятачке.

Чураются чёрные черти черги,
чугунное чудо чадят с кочерги.

Зачем же чудить, чавычу замечать –
уж лучше качучу чечёткой стучать!

Мечтаю: чучук под четок, по-чуть-чуть,
чтоб к чёрту зачалилась нечисть и чудь!

1966

ПОРЯДОК У ЩЕЙ

Угощая Кащея,
перекушался щей я,
и на зависть Кащею
с каждой ложкой толщею.
Ну, а тощий Кащей
ото щей стал тощей...

Ход столь странных вещей,
знать, в порядке у щей.

* * *

Купил мосье Моро с женой
камбалы мороженой.
Спросила у Моро жена:
«Кто сильней морожена?»
Отвечал Моро жене:
«Ты, милая, мороженей...»

* * *

Подрядились свинопасы
увеличить свиномассы:
на любого свинопаса
выдать больше свиномяса!
Вдохновились свинопасы,
разыгрались свиномассы.
И пустился свинопас
в разудалый свинопляс!
Свино-па у свинопаса
подхватила свиномасса,
и переплясала всех
на пути в колбасный цех.

* * *

Вот Индейка. Вот Индей.
У Индея нет идей.
Попросил Индей Индейку:
«Ну-кось, высиди идейку!»
Поднатужилась Индейка –
закудахтала идейка.

В люди вывела идея
безыдейного Индея.

* * *

Меня никто не сможет сбить с катушек,
мои катушки – это, братцы, да!
Бей кружкой по башке, стреляй из пушек,
греми в сто тысяч детских погремушек,
я на катушках удержусь всегда!

* * *

Дурак одурачен,
колпак околпачен,
Егор объегорен...
Как быть с этим горем?

1982–1999

ОЧЕРЕДНОЙ МУДРЕЦ

(из недавней истории)

Встав у трибуны враскорячку,
с бумажки не спуская глаз,
с трудом выжёвывает жвачку
мочальных слов и мыльных фраз.

Про светлые заблеял дали,
прохрюкал вздор про глубину...
Те дали все в гробу видали,
а глубина – иди ко дну.

Замямлил, занудил, замекал,
семь вёрст отмерил до небес,
хоть небеса давно, как пепел,
а вёрсты по вершку в обрез.

К его бессмысленной работе
сочувствия никто не знал.

Как рот, раздёрнутый в зевоте,
молчал уныло сонный зал.

Чтоб поразмяться, хлопать бурно
взялись. Ушёл (иль унесли?).
Едва вздохнули, на трибуну
другого под руки ввели.

1991

CHARMANT, CHARMANT...

(в духе «Куртуазных маньеристов»)

В цилиндр небрежно брошены перчатки
и рядом – праздно – трость.
Пришёл по перламутровой брусчатке
Незваный Гость.

Он вам принёс изысканную тэму –
пишите мадригал...
Вы нервно ощипали хризантэму
в пустой бокал.

Так, что же? Не хотите мадригала?
Charmant, charmant...
Плеснув чернил в отверстие бокала,
садитесь за роман.

Надев цилиндр и застегнув перчатки –
под мышкой – праздно – трость,
ушёл упругим шагом по брусчатке
Незваный Гость.

1997

СОБАКОВОДЫ

Он выгуливает сучку, с кобельком идёт Она.
Он бы взял Её под ручку, да в окно глядит жена...

С десяти шагов, не ближе их блудливый разговор.
(Кобелёк уж сучку лижет – ну и темпы, ну напор!)

– Обожаю вашу сучку! – шепотком Она шипит, –
Предлагаю с сучкой случку! –
Взор потуплен, постный вид.

– Принимаю предложенье,
комплименту очень рад...
Лишь одно соображенье:
где пристроить нам щенят...

– Что за детская наивность! –
слышен томный шепоток, –
проявите же активность, заучите адресок.

Есть приличная хатёнка,
не какой-нибудь бордель...
Вашу милую сучёнку поджидает мой кобель.

Он выгуливает сучку, с кобельком идёт Она.
Всем известно, что без случки
жизнь собачья не полна.

1975

VIII. ВЛЮБЛЁННОСТЬ

* * *

В этом городке
живёт воспоминанье,
тихо и невидимо живёт,
тайно расцветает
и по тайне
тайный след таинственно плетёт.

Челноками солнца,
лунной пряжей
ткёт оно по памяти узор,
и никто не заподозрит даже,
сколько зорь
и сколько лун прошло с тех пор.

Это было, было это, было!
Зори, луны, время...
Но легка
памяти работа –
засветила
уголок былого
искрой уголька.

Ты не раздувал бы это пламя –
пепел облаком влетит в глаза...

И висит за синими лесами
прошлое, как давняя слеза.

1965

* * *

Судеб скрещенья...
Б. Пастернак

Судеб скрещенья –
как в огне крещенье.
Судьба к судьбе – кресало о кремень!
Перехлестнутся взоры, словно звенья,
и колом из всего коловращенья
вдруг выпирает переломный день.
Вчера лишь незнакомые, сегодня,
увидевшись, сплавляются в одно.
Их прошлое скользит по шатким сходням,
срывается и падает на дно.
И жизнь сначала барку закачала,
и понесла, попёрла, повлекла...
Как будто вовсе не было причала.
Где тишина литым стеклом стояла,
звенят осколки битого стекла.

О, переломы жизни!
О, скрещенья!
Суды судеб.
Нить, впряденная в нить.
Нежданной встречи
принимаю день я,
чтоб снова
жизнь
(в который раз!)
прожить...

1976

* * *

В нелёгкой жизни надо жить легко.
В безрадостном всегда сквозится радость.
Есть ночь,
есть мрак,
но лунным молоком
вся тьма до звёзд далёких
пропиталась.

Ты видел, как в июне снег сверкал и думал:
свет лучат одни лишь льдины.
Но умудрённо-светлая рука
к тебе прижалась шеей лебединой.

Казалось, красен только блик зари,
отчёркнутый Полярным кругом,
и вдруг у губ обветренных твоих
зарделись неожиданные губы.

И там, где застят тусклый небосклон
худые лапы лиственниц Таймыра,
почудится волос далёких звон,
копной прикрывших половину мира...

Не давят днища тяжких облаков,
коль можно где-то, у другого края
пить лунное,
парное молоко,
рассветных губ
от губ не отрывая.

1964

* * *

Сделаешь разбойничью причёску –
волосы на лоб мохнатой шапкой.
Будет ветер бить листвою хлёстко,
под ногами льдины встанут шатко.

Отмахнёшь листву, пойдёшь по льдинам,
тонкою рукой прорежешь дали,
там, где лёгким лётом лебединым
облака над льдами пролетали.

Твой разбой совсем тебе неведом –
для тебя обычна эта смелость.

Я погублен.
Полынья...
Шёл следом...
Мне таким же смелым быть хотелось.

1965

* * *

Без будущего встречи,
без ожиданья встреч.
Не спорит горечь речи
с надломом милых плеч.

Привыкли, хоть и ранит
привычная судьба –
при каждом расставанье
прощаться навсегда.

Надежды нам не надо.
И нет души родней.
О горькая отрада
последних наших дней.

1988

СЛЕДЫ

Дом опустел:
следы ушли к дороге.
Опали вётлы.
Обнажилась даль.
Два следа на полу,
два следа на пороге.
А где ещё?
Найдёшь едва ль.

Они слились с песком и колеями,
с травой набрякшей,
с выцветшей листвой;
следы ушли со многими следами –
своя у них судьба
и век у следа свой.

Косым дождем под тучами худыми
их стёрло и рассеяло как дым.

Где ж разыскать знакомые следы мне,
которые ушли, оставив дом пустым?

1952

БАРЖА

Любовь для всех становится уделом.
Вот рябью перехвачена река,
и ветер низовой
с бесстыдством смелым
хватает баржу за бока.
Цветочной пылью и гречихой пьяный,
он шали вётел истрепал до дыр.
Ему плевать,
что у баржи-беляны
есть свой законный старенький буксир!
Её он валит,
рвёт брезент и снасти,
поёт и стонет меж вспенённых струй.
Он не скрывает ветрогонной страсти
и лепит в бёдра мокрый поцелуй.
Пускай буксир скрипит своим канатом
и злобу вымещает на воде!
Беляна встала возле переката
и не желает на него глядеть.
Ей нравится
шальная бесшабашность
и страсти стон,
и грубых ласк разгул.
Но в радости
ей от предчувствий страшно –
кто видел,
чтобы ветер
вечно
дул?
Сосновым сердцем угадав измену,
душой рогожной чувствуя беду,
она считает страстью
клочья пены,

любовью – песню, спетую в бреду.
Как ветреного счастья век недолог!
Беляна еще верит в лучший час.
А ветер на холмах в заречных сёлах
уж с мельницами затевает пляс.

Всё успокоилось и спит в вечернем дыме.
Буксир и ветер –
все давно ушли.
Одна баржа слезами смоляными
тихонько плачет, стоя на мели.

1952

УБИЕНИЕ

Приходят женщины
избавиться от плода,
принять расплату за восторг зачатья,
свершить убийство тонкое
в угоду
«приличью», «экономии», «рассудку»
и прочим чадогубящим исчадьям.

Все разные по счастью, по утратам
и по безумству праздничных ночей.
Всех обрядили в серые халаты.
И очередь под нож.
И тот росточек
был свой
и вот – ничей...

Отбушевал огонь слепящей боли,
остались
пепел, пустота и пыль.
И этот мир,
как океан баз соли,
и жизнь,
как страсть, утратившая пыл.

«Приличью», «экономии» в угоду...
Как больно на фигуры их смотреть!
Согнувшись, постаревшие выходят
из тех дверей,
где затаилась смерть.

1976

IX. ДЕЙСТВО ДЕТСТВА

ПОГЛОЩЕНИЕ

Поглощена до волосков бровей,
поглощена по горло поглощеньем,
сосёт со всхлипом,
тянет всё жадней,
взахлёб вбирает тёплое теченье.

Ручонками – в тугой бурдюк груди.
Насосик губ – в немолкнущей работе.
И молоко по горлышку гудит,
и мир в могучем молоковороте.

Как будто две вселенных –
дочь и мать
и Млечный Путь связал их воедино.
Для них судьба друг друга дополнять,
с двойной судьбой вступая в поединок.

О музыка начала всех начал –
всхлип голода и радость насыщенья!
Неистовый мотив твой прозвучал,
лаская слух и ублажая зрение!

Невиданной разнузданности взлёт,
неслыханный размах чревоугодья!
Пир из пиров –
младенец грудь сосёт.
Найдётся ль грандиознее мелодия!

1970

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ

Ест кашу.
Торжественно,
словно совершает священнодействие.
Личико в размазанной манке,
будто в ритуальной маске.

Смотрит в пространство,
а может быть, внутрь себя;
взглядом, так же, как языком,
горлом, всем телом
оценивая и принимая кашу –
лучшее из всего существующего сейчас
во Вселенной.

Личико спокойно и полно довольства.
На кого же похожа сейчас малышка?
На кого же?..
Да вот ведь на кого:
на Будду!
Спокойное довольство,
как погружение в нирвану,
как созерцание источника Жизни –
сладкой манной каши,
важнее которой сейчас нет ничего на свете!

Торжественно открывает ротик,
принимает ложку,
медленно со смаком проглатывает содержимое.
Ротик движется, по губам и щекам
течёт излишек.
Но глаза неподвижны, серьёзны,
устремлены в глубь и в даль.

Происходит величайшее таинство
построения и роста маленького Человека.
Он сам себя строит и растит
из манки, молока и сахара.
Это сложней, чем возникновение новой галактики.
Поэтому так серьёзно
и самоуглублённо испачканное личико.

Но вот глаза начинают бегать,
голова отворачивается от ложки,
губы произносят сквозь наплывы каши:
«Бе-е-е!»

Ритуал окончен.
Маска стирается полотенцем.
Серьёзности и торжественности как не бывало.
Начинаются «ладушки».

1970

В МИРЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Для неё нет мелочей –
всё важно, всё значительно,
всё захватывает целиком.

Среди песка и хвои
разглядывает муравья:
глазки бегут вслед за его беспокойным
движением,
шейка вытягивается,
губки собираются в дудочку.
Во всём мире сейчас есть один Муравей.

Когда весело и вокруг знакомые люди –
начинает плясать:
расставляет ручки
и слегка приседает на полусогнутых ножках.
Взрослые хлопают в ладоши и подпевают.
Но она никого уже не видит –
старательно приседает.
Личико сосредоточено,
ротик увлечённо раскрылся и виден кончик
языка,
глаза – чистая радость.
Заглянешь в них
и видишь – сейчас на всём свете
одна радостная пляска,
всё кругом пляшет и все пляшут.

А вот садится на горшок.
Замирает.
На лице самоуглубленность мыслителя.
Будто прислушивается к чему-то
грандиозному,

происходящему в недрах земли.
Напряжение нарастает,
взгляд отрешён,
ничто не может отвлечь от углубленного
ожидания
события равного извержению вулкана.
Так и ждёшь пророчества,
от которого зависят судьбы народов.

И в этот миг
серьёзность сменяется улыбкой
облегчения.
Малышка вскакивает со стульчика
и торжествующе указывает на горшок.
Свершилось!
Все глядите, как замечательно удалось
одно из самых трудных дел!

Смотришь на неё
и начинаешь понимать:
в мире нет мелочей,
мир полон вещей, настроений и чувств,
которые достойны всего внимания,
всей увлеченности,
всего сердца.

В мире нет мелочей.

1972

ОТКРОВЕНИЯ

Откровенье
без слов и до слов.
Только звуки и чувство.
Голосок и сердечко согласно звучат.
Если радостно – радость,
обида – так гневно и густо.
Изощрённый актёр лучше скажет навряд!

На кроватке стоит.
Голодна –
каша медленно стынет...
Сколько искреннего нетерпенья
звучит в голоске и в груди!
Что пророк,
вопиющий о манне в пустыне!
Бросив всё,
прибежал бы он
манную кашу студить!

А смеётся –
звенит потолок!
В коридоре, на улице –
смех нашей крохи.
Разливанным весельем одарит, не ведая,
всех!
Что там клоуны и смехачи,
что петрушечники-скоморохи!
По сравнению с крохой –
зевота у них, а не смех.

Скажет «ги...»,
скажет «ге...»,
скажет «гель...», –

не слова ещё, всё же
в каждом мысли на целый словарь.
«Ге» и «гель» – это Гегель, быть может,
царь всея диалектики,
мысли метущейся царь!

Односложность
и придых,
и вскрик,
бормотанье и слёзы –
всё от сердца,
во всём откровенье души.

Ну, попробуй –
вот так, без сокрытья и позы
о себе и о мире своём
напиши!

1970

ТЕАТРИК

Каждое утро в окне нашем –
детский театрик.

Уходя на работу, смотрю представленье
(всегда одинаковое и всегда, как впервые)
и рукой на прощанье машу.

За стеклом два светящихся личика:
мальчик смеется, а девочка смотрит печально.

Мальчик так мал,
что нетвёрдо стоит на чуть согнутых ножках,
и смутно видна за спиной его
бабушка – без неё он не влез бы на подоконник.
Он не знает ещё прощаний надолго –
хохочет, ладошкой стучит по стеклу...

От девочки мне приходилось
уезжать в неизвестность, в ненастье;
памятны ей далёкие расставанья
и поэтому смотрит печально,
хоть знает: вернусь, чуть стемнеет.

Выйдя из дома,
поднимаю голову
и один миг смотрю эту сценку,
дочкой названную
«Папа, помаши нам ручкой».

1975

* * *

Передвижение с детьми на поездах
в мушиной липкой духоте,
в кошмаре набитых станций,
в па́рной, мочой разящей духоте вагонов.

Замурзанная соска
и бутылка в потёках синих молока.

Грудь матери, солёная от пота.

Замусленная корка
и печенье, затёртое на угольном полу.

Испачканная рожица.
Ручонка, липучая от сохлого повидла
и голубые ползунки,
слинявшие от пыли и от сора.

Болячка на щеке, на темени короста,
опрелые подмышки...

Но глаза! Глаза чисты, как росяные капли.
И в них – начало мира и познанье вселенной
через этот уголок
вагона, провонявшего мочой,
и через мух в прокисшей духоте,
и через краешек окна, где за стеклом
раскручивается и уплывает
великий жёрнов светлого простора.

1967

ИСТЯЗАНИЕ

Было солнце и гор голубая гребёнка.
Птицы скоком косым по ореху скакали.
А внизу, в светлом доме,
весь день истязали ребёнка.
И ребёнок не плакал,
но плакали птицы и камни.

Он их краешком глаза рассматривал изредка...
Было
ему странно, что птицы и камни живут, как желают.
Ему дергало пальцы и спину, и шею сводило.
Он терпел, потому что ведь иначе не бывает.

Эта мука была для него изначальна.
Он не знал, для чего она
и почему так жестоки с ним люди.
Он противился раньше, теперь же
с покорным молчаньем
принимал то, что было, что есть и что будет.

К истязанью ребёнок давно был приучен.
Он орудия пытки с утра извлекал из футляра.
И смычок натирал канифолью,
и струны подкручивал круче...

Лишь от первого звука он вздрагивал, как от удара.

Ялта, 1968

НАЧАЛА

Там, в недрах семей,
средь пелёнок,
скрипучих колясок
и низких кроваток
незаметно растут мастера:
трактористы и трагики,
маляры, моряки,
трубачи, трубочисты –
все, кто придёт после нас
и возьмёт этот мир в свои руки.

А пока
пусть вышвыривают погремушку,
наблюдая, как падает на пол,
пусть вдребезги чашка,
пусть ваза с цветами летит...
Пусть вершится познанье
притяженья земного
и сути вещей преходящих!

А пока
пусть неловко на ножки встают,
одолевая с трудом
притяженье планеты.
Отсюда,
от решётки кровати,
в которую надо вцепиться,
чтобы встать,
происходит стремление ввысь,
к небесам и созвездьям.
Здесь истоки,
открытье вселенских законов
этим тельцем, ногами, руками,

здесь первая схватка
с космической хваткой Земли,
и победа над ней,
и ликующая опаска
самых первых шагов
по недвижимой тверди.

Дальше всё будет проще.
И формулы, и языки –
лишь выраженье,
а суть уже познана –
вдребезги ваза с цветами,
и крепкие ножки
ввысь возносят
грядущего трагика и тракториста,
трубача, трубочиста,
плотогона и плотника,
земле- и звёздопроходца.

1975

X. ИСКУС ИСКУССТВА

ДРЕВЕСНЫЙ МОТИВ

Я отсюда возьму
побуревшие в бурях обрубки
сучьев, про́жили, про́вити
всех пестрядинных древес.
Я хочу сохранить
после варварской колки и рубки
лишь один деревянный,
двойной дровяной интерес.

Упадали чащобы –
в стволах сохранялся рисунок.
Распадались тела,
но распад не касался души.
О какой же слепой и глухой недоумок
топором и пилой
захотел красоту придушить?

В веренице племён было место и грекам,
и гуннам.
Вот и нам выбирать, с кем теперь по пути.
Проведите пилой, как смычком
по слоям, как по струнам,
чтоб из толщи времён
прозвучал
музикийский, медлительный, мягкий мотив.

1997

БАЛАГАН ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Балаган.
Узнаю его –
весь он, как был.
На базаре, на ярмарке
на ветру парусиной трещит.
Зазывалы и клоуны
глотки дерут, выбиваясь из сил.
И не хочешь – войдёшь,
не приемлешь – возьмёшь:
уведёт, увлечёт, улещит.

Пусть нейлон на плечах,
синий лак на ногтях,
сигарета в зубах...
Пусть гудят электроны
и светится мутный экран.
Лишь взойдут на подмостки,
да ухнет под ухо труба –
узнаю балаган!

Проходные дворы этих студий пустых,
сквозняки коридоров,
бутафорский картонный уют.
И вчерашних программ позабытые всеми
листы,
безнадёжная жалость
в эфир улетевших минут.

Эти лица изжёваны взглядами до синевы,
эти плечи зашамканы ртами до самых
костей.
Рот разодран улыбкой –
он слаще халвы

и он горше, чем желчь,
и он уксуса злого кислей.

Балаган.
На границе искусства,
за гранью экрана, он там,
где бездушная башня
по небу чертит электронным перстом.
Где душа человека не верит своим же
мечтам,
где глаза человека не верят ушам
и где сердце не верит глазам и ушам,
где лишь ветер
в сырой парусине
и в мире пустом.

1962

О ВЕЛИКИХ

Великие,
помимо дел велики
ещё и тем,
что возле их фигур
столетьями прокорм находят
клики
учёных, неучей и выученных дур.

Великий умер где-то на мансарде
один,
лишь крысы шастали в углу...

Пусть знатоки
в захлёбистом азарте
заспорят, сев к огрузшему столу:

Где покупал он перья и чернила?
Был он левшою, иль правшою был?
А ведь, возможно,
всё иначе было –
писал он кровью, не купив чернил.

Как был одет он?
Разыскать так сложно
его камзол, заношенный до дыр...
И ведь иная версия возможна –
в безденежье он всё спустил в трактир.

Что прохрипел великий, умирая?
Послал всех к чёрту иль призвал богов?
И ведь возможна версия другая –
нежравшему неделю не до слов...

Приятно спорить, сидя в кабинете.
А что ни спор, то веский гонорар.
Великий!
Да найдётся ли на свете
другой такой же ходовой товар!

...Исследованья, книги и трактаты.
Сонм бакалавров, профессуры сонм.

Кто б подсчитал доходы и затраты
и дал Великому
при жизни
на прокорм!

1968

ПРИТЧА О ТВОРЧЕСТВЕ

Читал: из шин и старых баков
составлен кем-то крокодил.
Видал: из жести ржавой – пальма,
из поролона – хризантема.
Слыхал: бензиновую воду один мудрец
изобразил.

О чудо творчества! Яви нам
из гари – утренний туман,
из нефти – радугу,
из дыма – крутые облака и тучи.
Пусть самый воздух из отходов
искусником нам будет дан!

Творите, пробуйте, дерзайте!
Лепите женщин из резин.
И взяв пластмассовые страсти,
нетленной силою украсьте
из культуризма, футболизма,
из хоккеизма и боксизма,
а в общем из алкоголизма
умело сделанных мужчин!

Побеждена совсем природа
и пере-преображена.
Творим природу из отходов,
отходы – мера для природы.
Какого ей ещё рожна!
Природа больше не нужна!

1976

АРТИСТ

На меловом лице надломленные брови
и рук холёных чуть небрежный жест
и в каждом слове
есть что-то странное, далёкое,
но есть!

Две белых кисти у лица
и в зале
по янтарю, по зыбкой бирюзе
плывёт корабль в индиговые дали,
где не бывать ни буре, ни грозе.

Ненастоящая страдает королева
и распускаются порочные цветы,
и ангелок с рождественского древа
крылом сусальным навевает
маэстро жалкому
картонные мечты.

Фарфоровый Китай,
Россия под снегами,
банановые пальмы под дождём...
Всё в нереальности,
всё, словно в тонкой раме
под голубым изогнутым стеклом.

1966

ТЕАТР И ИСТОРИЯ

Лицедеев нарядили в матросскую форму,
вложили бутафорские маузеры в руки,
а в губы придуманные слова.
И те
в полном соответствии с актёрской наукой
стали изображать то,
что у заштатного драматурга
сварила недалёкая голова.

Они громко выкрикивали выспренние фразы
и раздвинув подбитые ватой плечи,
шагали под бравурные марши.
И враги их на сцене были так глупы
и беспомощны,
что ни разу
не промямлили ни одного слова
без идиотской и заведомой фальши.

Все трудности были расписаны заранее,
и на каждую трудность
было припасено простейшее решение.
Поэтому зрителей
с первого акта охватывала такая занудность,
будто в зале зачитывали канцелярское
прошение.

И всё это выдавалось за историческую драму,
хотя в спектакле не содержалось ни грана
истории.
Разве можно назвать историей
аляповато размалёванную раму,
наполненную наспех заготовленной
бутафорией?

А ведь в сущности
бутафоры и актёры тут были не при чём,
и за труд им назначили хорошие цены.

Только зрителей теперь
не заманишь калачом
к настоящей Истории, оставшейся за сценой.

1968

КИНО И ИСТОРИЯ

Что за поделки и подделки
являют фильмы о войне!
Всё недоделки-переделки
на переделкинской волне.

Перелицовки, перекройки
по выкройкам, где крой не кровь.
Три серии сошьют, как тройку,
за пару праздных вечеров.

Что взять с тех авторов и мэтров,
трактующих исход боёв
на запланированных метрах,
где лишь гримёрам портят кровь?

Где были в те поры?
В Ташкенте.
В утробе матери.
Не плохо!
Чтоб через тридцать лет на ленте
«обэпопеить» ту эпоху.

Эпоха клочьями мотала
кишки и мясо на железо...
Тех, кто всё знал – их слишком мало.
А кто не знал – из тех полезло.

Есть те, кто крови не видали.
Нет тех, кто кровь с сапог не вытер.
Воздвигся на экране
Сталин.
Расползся по экрану
Гитлер.

Единоборство
двух
гигантов:
великий вождь и обезьяна.
Кривляния комедиантов
среди широкого экрана.

И грязь должна быть только в меру.
И кровь, чтоб через лоб, красиво.
Вперяйся взглядом и уверуй:
война – отважество и диво!

Орудья в пене,
танки в мыле –
баталья в стиле рококо!
Ведь мэтры сами кровь не лили
и от фронтов далече были.
До премии ж – недалеко!

1972

* * *

Убеждали творца-современника люди:
«Подожди,
вот придут времена,
тебя примем, полюбим,
наградим и уважим,
и памятник даже поставим,
о заслугах расскажем,
издадим твои книги,
картины раскупим,
портреты развесим.
Признанье и слава грядут!
Подожди,
торопиться не надо,
подожди лишь до собственной смерти!»

1972

О ВИНОДЕЛИИ

Как медленно у черепа в бочонке
с годами крепнет разума настой!
Как долго ждать, пока напиток тонкий
дойдёт в кувшинах книг
до жаждущих душой.

У этого вина особая примета.
Есть пьяницы-глупцы,
что пьют по старость лет
и вкус не разберут,
но шамкают при этом:
«Будь виноделом я,
получше б дал букет!»

Другие же
пригубят лишь глоточек,
ни похвальбы у них, ни шума не найдёшь.
Кто труд познал,
тем ясно с первых строчек
плох винодел
иль винодел хорош.

1952

ЧИТАЯ...

Сквозь мутное стекло столетья
хочу Поэта разглядеть,
но не могу найти веретья –
пыль протереть,
ей имя Смерть.

Нас разделяет и разводит
даль духа, даль судеб и слов.
Основы жизни есть в народе,
у Смерти нет таких основ.

Пустые это разговоры,
что «вечно жив наш Имярек»...
Живому не дано повтора.
В века уходят лишь навек.

Пусть
в оправдание зарплаты
вершат и вкупе, и вразброд
гальванизацию утраты –
подстрочный тусклый перевод.

Не преломить
времён деянье:
забвенья медленный закон
мутит стекло непониманья
и уплотняет пыль времён.

1980

СТИХИ О СТИХАХ

Не обозначу даты в конце стихотворенья –
пускай живёт и дышит,
пока живут коренья.

В земле, в золе и глине
истоки нужных слов.
Писал стихи тогда я,
когда не до стихов.

Прощанье с жизнью было.
На грани бытия
меж словом и меж смертью
свой выбор делал я.

Случалось приближенье к дыханию вершин.
Меж радостью и словом
свой выбор я вершил.

И дело тут не в датах,
не в слоге, не в словах –
так совместились
судьбы, деревья и трава.

И, не дождавшись даже
намёка на зарю,
безвестен и беспечен,
себе я говорю:
о муках слова много смололи чепухи.
Легко из дней тяжёлых
слагаются стихи.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

В этом доме
пиликают стёртые скрипки,
и рояли разбито бренчат,
как трамваи.
Здесь гармонии грубы,
мелодии хлипки.
А в округе
все жители
слух и терпенье давно надорвали.

И кишат на крутых этажах,
и кружат, и кричат, и бранятся
здесь, в преддверии музыки,
тут, в прихожей у муз...

Дальше их не пропустят
да и сами они не стремятся –
не для них груз открытий
и славы, и творчества груз.

Поколения маленьких варваров,
терзающих инструменты,
продираются ордами
через ад этот сущий,
чтобы, может быть, где-то в отсеве столетий
мелькнул искромётным моментом
лишь один удивлённый талант,
удивление людям несущий.

1973

ЗВЁЗДЫ

Развращённые славой,
разобщённые спесью,
отягчённые чванством,
улещённые лестью,
знаменитости,
кино-теле-радиозвёзды –
загораются рано,
гаснут дымно и поздно.

О, шутихи удач,
славы звонкая вспышка!
Ярок кожаный мяч,
но внутри-то
пустышка.

О, стихия страстей!
Вой хоккейных баталий
не мудрёней костей
домино на бульваре.

И напыщенность поз,
и увенчанность лавром...
Чем пышнее курьёз,
тем отрадней литаврам.

Знаменитости ходят, не сходя с пьедесталов.
Звук шагов: ну, точь-в-точь
домино простучало.

1975

ИСКУССТВО

На охоту за каждым изгибом мысли,
за новой рифмой и новым размером
под землю и в выси
выхожу
и в невозможное верую.
Бесконечность дней, часов, минут
и столетий,
пестрота форм земных и небесных –
всё, что бесцветно или цветёт
в самом ярком цвете
жизнь обретает
в песне!
Мозг, словно воды ручья,
отражает
и вносит своё добавленье.
Нет в нём косности зеркала,
он, как волна,
в изгибе которой всегда искаженье
и всегда красота берегов видна.

Нужно слово хватать, как рыбу,
что поймана и вертится на тонкой леске –
пусть на руках останутся порезы и ушибы,
на них останутся ещё живых чешуек
блёстки!

В чём секрет искусства?
В овладеньи материалом,
в смелости выбора темы и формы.
Искусство начинается в самом малом –
в слове,
поставленном не так,
как привыкли ставить с детских пор мы.

И это не «выверт», не «дань формализму»,
это путь заставить
стать явью невидимку:
то, что ускользает в обыденной жизни,
обретает плоть свою
идти с тобой в обнимку.

1967

* * *

Всё больше красок впитывает взор,
всё больше плоти и бесплотных линий.
Мир сделался похожим на костёр,
и я горю в пылающей пучине.

Свистят и хлещут языки огня,
жестокость красоты не знает края.
Ожог и боль проходят сквозь меня,
лечу в огонь, и радуюсь,сгорая.

1960

XI. ВСЯ ЖИЗНЬ

* * *

Всё глубже погружаюсь в годы,
всё ближе илистое дно.
Там, где ни ходу нет ни броду,
мне тоже илом стать дано.

Не от того, что сердце ропщет,
не потому, что свет не мил,
я просто по судьбе всеобщей
вольюсь в первоосновный ил.

Осяду медленной частицей
во тьму таких, как я частиц,
и даже всплеска не случится
меж безднами сердец и лиц.

Уйду в безвременность пластовий,
где средь сгоревших душ и дел –
пределы круговертей крови
и беспредельностей предел.

1972

ВО ДНИ ПЕЧАЛИ

Вот что свершили надо мной
во дни моей печали:
меня обмазали смолой
и в перьях изваляли.

Венец капустный на чело
и кочерыжку в руку...
Мутиться небо начало
от гогота и хрюка.

Но так печаль была сильна,
так ныло в межреберье,
что промелькнули вроде сна
смола и брань, и перья...

1973

* * *

Тянусь я не смело
судьбой небольшой
к друзьям
с оробелой
и слабой душой.

Есть люди-плакаты,
до них не достать.
Мы жизнью помяты,
крива наша стать.

Живём понемногу –
работа да дом.
Мы ходим не в ногу,
поём не о том.

О нас не составят
надгробных томов.
Пускай лишь оставят
работу и кров.

Не нам разбираться,
кто мал, кто велик,
и хруст ассигнаций
нужнее ли книг.

1975

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я встретился вчера с самим собой
и не узнал себя, в себя вглядевшись.

Лицо мне показалось вдруг чужим –
в глазах тревожно тлела умудрённость,
которой раньше я не ведал,
спрямило губы знанье
и пропилила лоб занозистая мысль.

Как я вселился в незнакомый облик?
Что за пути потайные прошёл?

Я медленно провел ладонью
по незнакомому плечу в моей рубахе...
И токи беспокойных скрытых сил
меня кольнули зло и отчуждённо.

Я начал понимать:
всё то, что раньше проходило мимо,
что было достоянием других,
а мной
не принималось,
отвергалось,
пришло ко мне и захватило
рассудок мой и сердце.

И вот я не могу себя узнать.

Я начал понимать:
у сердца есть своя неведомая жизнь,
свои законы, которые в сознанье входят,
когда уже свершились
и овладели полностью тобой.

Я весь другой –
и помыслом, и сердцем,
но сам к себе, другому, не привык.

О, теснота словес неизречённых
и стиснутость невыплеснутых сил!

Казалось бы, не во время,
когда определилось всё и устоялось,
когда себя знакомым стал считать –
всё сломано,
всё снова начинать!

Как труден перелом,
когда встречаешь
средь жизни незнакомого себя!

1969

* * *

Этот берег...
Деревья, кусты и река.
Только корни реки
уходили в века
и питались не каплями талой воды,
а вбирали судеб затаённых
следы.

Бурлаки приложили печати лаптей,
рыбаки замахнули туманом сетей.
Цепь из вмятин босых
через вымокший ил
кто-то в омут закинул
и там позабыл.
И горящая нефть
языком ледяным
города облизала и сдула, как дым.

...Пластовался закат
и дымилась звезда
там,
где зыбко и зябко дрожала вода.

1962

* * *

Когда душа переболеет
и сердце выболит до дна –
добрей становимся и злее,
и суть судеб ясней видна.

Та доброта подстать вхожденью
в другие души и сердца.
Она включается в их звенья,
чтоб зло и злобу отрицать.

И злость от этого острее,
и жёстче жало мудрых глаз.

Как доброта и злоба зреют,
когда страданье гложет нас!

1973

* * *

Не жалей о сделанном,
не тужи о прошлом.
Прогоревшие дрова
деревом не станут,
листьев не распустят.

Самый жалкий человек,
самый безнадёжный,
кто терзается:
Ах,
тот цветок не сорван,
что зацвёл на заре
прошлогодним утром...

1972

* * *

Доверьтесь незнакомым,
неизвестным,
невиденным,
неслышанным,
вон тем,
кто не бывал и рядом с вашим домом,
кто никогда не видел вас совсем.

Не ждите ничего.
Пусть гложет
печаль.
И кто-то,
как из-под воды,
придёт из неизвестности,
поможет,
и в неизвестность уведут следы.

1962

* * *

Так смотрят на огонь и воду:
бесцельно, бескорыстно,
просто так.
Не хочешь пить,
согрет,
но будто сроду
не видел волн
и пламени сквозь мрак.

Одно и то ж,
до дна однообразье,
до пепла, до безжизненной золы
и все же
глазу,
как великий праздник –
томящий свет и тёмные валы.

У глаза радость есть
перебирать, как чётки,
оттенки, высветы и отсветы воды,
рисунок искр,
стремительный и чёткий,
когда смола от пламени гудит.

Есть радость
видеть мир.
Великою стихией
бесцельно, ни за чем глаза твои полны.
Не должен ей ни капли, ни крохи,
и сам не нужен ей
и в этом вы равны.

1964

ДЛЯ СОВЕТА С ДОЖДЁМ...

Приоткроем окно, впустим дождь, пустим ветер
и шлепки мокрых листьев к себе позовём.
Кто нуждается в медленном мудром совете,
обойтись не сумеет без совета с дождём.

Соберемся в дорогу.
Погрузим в котомку сомненья
и по снежной равнине
под волчий отправимся вой.
Путь мудрей мудрецов.
Тот, кто жаждет прозренья,
не преминет прибегнуть к белизне снеговой.

Приурочим к весне окончанье кочевья,
водопольем отмоем коросту забот.
Сок весенней травы и взбодрённых деревьев
первозданную свежесть
измотанной жизни вернёт.

Мы пройдём через время,
как путник идёт сквозь просторы:
через лето и осень
к зиме и весне подойдём.
Приоткроем окно,
сдёрнем боль, треволнения, шторы и шоры
для совета с ветрами,
судьбой и дождём.

1986

ЕГИПТЯНИН

Взгляну и нежданно поблазнится мне
в сегодняшнем дне время о́но.
Египетский профиль кота на окне,
как весточка от фараона.

Ни лапой, ни усом не двинет, отлит
из каменных тысячелетий,
и лунный зрачок из глубин пирамид
сквозь время стеклянное светит.

1999

* * *

Из пряжи времён и просторов
сотканы судьбы людей.
Времён и просторов норов,
чем дальше, тем круче и злей.

Свиваются годы и вёрсты
в узлы трудных встреч и разлук,
смыкается больно и остро
вкруг сердца их яростный круг.

Не вырваться – узел затянут;
не выбраться – пряжа крепка!

...И только в дали берестяной
привольно плывут облака.

1973

* * *

В тягучей тине бытия
событий не избыть.
И мы, надежду затая,
из тины тянем нить.

Глубоко ноги увязив,
всё ж видим неба ясь.
Чрез муть житейскую в грязи
блеснёт и нам карась!

Не всем орлиный дан полёт,
но всем дан солнца лик.
Споёт и нам среди болот
в кочкарнике кулик!

Сдают любимцев муз в музей.
Безвестье нам дано.
И есть отрада меж друзей
без чванства и чинов.

Отмерив годы в бытии,
уйдём в небытие.
Пока ж потянем нити и
соткём из них житьё.

1984

* * *

Восход, закат ли – равно медны.
Едино: сеятель и жнец.
Мой каждый день –
как бы последний,
и каждый миг – как бы конец.
И вдох так к выдоху прижало,
что бытие
в небытие
своё протягивает жало
и время горькое своё.

1973

ПОУЧЕНИЕ

Не верь любящим тебя.
Не тебя они любят,
они любят
ими же придуманное
и тебе приписанное совершенство.

И пока им кажется,
что это совершенство – ты,
они ставят тебя в пример,
ловят твои слова,
преклоняются, восхищаются:
«Есть же на свете люди!»

Но стоит тебе повернуть свою судьбу
по-своему,
поступить не так, как хотелось бы им –
горе тебе.

Сила любви
превращается в ненависть,
а ты
из ангела преображаешься в беса.

Отныне ты – разрушитель, злодей
и преступник.
Вместо патоки тебя поливают помоями,
свет обращается в тьму,
истина – в ложь,
идеальность – в уродство.

Не позволяй себя любить,
отгоняй слова умиленья,
не потакай восхищенью.

Крутым поворотом судьбы
проверяй тех, кто рядом с тобой.

1975

* * *

Вот череп. Сквозь него – трава.
Нагнись.
Для этой встречи не нужны слова,
лишь пригибайся, опускайся вниз.

Пусть будет тишина,
пусть будет зной,
ты,
ухо приложив к дыре на лбу,
как в раковине, брошенной волной,
услышать должен про его судьбу.

За частоколом стиснутых зубов
ещё живет и вздох, и смех, и гнев,
и тяжесть слов,
перед которой сникнешь, оробев.

Послушай:
музыка. Он музыкантом был!
Пульс молота – он был рабочим.
Дрожь трав – он их в лугах косил,
губ шёпот – слушал среди ночи...

Возможно всё,
но разве тут нужна
догадка о судьбе, оборванной когда-то?
Ведь ясно – здесь была война,
он был солдатом.

1952

* * *

За благо – всем благодаренье.
Поклон заре за озаренье.
Волну привечу за волненье,
и мир за умиротворенье,
стихию за стихотворенье,
и белый свет за просветленье.
Пусть дарит зрение прозренье,
и радость привезёт везенье...

А как же тьма и миг затменья?
НИЧТО и мрак уничтоженья?..

1977

* * *

Почаще делайте, как хочется,
живите без оглядки чаще.
Желанья, как деревья в рощице:
начнёшь рубить – не станет чащи.

Побольше безрассудства!
Радости насквозь и напрочь безрассудны!
Где шкипер не шалел от ярости –
на рифах погибало судно!

Жить без расчёта, жить, как хочется –
пусть год и миг равны, как глыбы,
чтоб в чащу превращалась рощица,
суда сквозь рифы плыть могли бы.

1966

ЗЛЫДНИ

Тот город злыднями напичкан,
и залит злобою до крыш.
Едва завидит злыдень птичку,
орёт своё дурное: «Кышь!»

Чуть кто-то приоткроет ставни,
едва допустит в душу луч,
находят злыдни в Злом Уставе
закон, что злее злыдня злюч:
– Не видеть.
– Не светить.
– Не думать.
– Не быть.
– Не мочь.
– Не петь.
– Не греть.
Для них и жизнь,
как смерть угрюма.
Ведь суть закона злыдней –
СМЕРТЬ.

1985

ПРИТЧА О ПРАЗДНИКЕ

Поздравления с праздниками.
Угощения пряниками.

Гостеванья да подарочки.
Собиралися товарочки.

В пенно-бражные кружалищи
грудились друзья-товарищи.

Старички-старушки шамкали,
чай зажёвывали жамками.

Нежны детки-малолеточки
мяли-муслили конфеточки...

И смотрела с неба, зыркала,
генеральским пальцем тыркала,
всем и каждому пригодная
Смерть уродно-водородная.

1976

* * *

Жизнь пчёл,
жизнь ос,
жизнь тощих насекомых,
жизнь в трепетной траве,
жизнь, пьющая нектар,
жизнь в солнечных лучах,
жизнь в праздничной истоме,
жизнь быстротечная,
жизнь зыбкая, как пар.

1967

ЖИЗНЬ

Она словно ком нутряного довольства,
избытка природного яростный ком,
дородство несёт,
как кувшин детородства,
налитый тяжёлым тугим молоком.

Плоды всей земли –
дыни, грозди бананов,
картофеля клубни
и яблок бока –
повторы, подобия линии стана
и крепкого вкуса ее молока.

В пещерах и гнёздах, и глинистых норах
детёныши
жадною жизнью живут –
в них зреет и крепнет
ухватистый норов –
созреть и уйти из родительских пут.

Уйти к вечной жажде зверья и растений,
немолкнущей жажде плодящих плодов –
плодиться,
приплоды нести
через время,
кувшин детородства –
сквозь чащу миров!

1965

НАДЕЖДА

Когда кукушка откукует
сто раз,
и проживёшь сто лет;
и не помянут даже всуе,
и всё, что написал – в столе...

Ты,
сетуя что не издали,
откроешь форточки глазок
и станешь ждать:
а вдруг
из далей
кукукнется ещё разок?..

1979

* * *

Мир закоулков привокзальных
залузган мусором дорог,
замызган вёрстами, засален,
исхлёстан вдоль и поперёк.

Вокзал, дрожа, как алкоголик
в сыром карболочном пару,
мытарств и странствий хмурый облик
рисует дымом на ветру.

1962

ИНОГДА

Иногда
среди житейщины, растянувшейся на месяцы,
задёрганный и замордованный всепоедающими
мелочами,
бежишь куда-то по какому-то нуднейшему поводу
и тут
будто некий чудодей вставляет тебе новые глаза,
и ты словно впервые видишь –
эти странные каменные и стеклянные плоскости,
поднятые к яркому небу;
блестящие, непонятно как передвигающиеся
по накатанным поверхностям штуки;
удивительных существ,
идущих навстречу,
плавно и точно несущих свои замечательные
тела и головы, и глаза,
в которых угадывается неведомый мир;
видишь ослепительный шар, висящий в синеве,
чувствуешь тепло, исходящее от него,
свет, отражённый в мириадах зелёных чешуек,
унизавших кривые и корявые стебли
каких-то странных растений.
Ты не знаешь
как всё это называется,
ты увидел этот мир в первый раз,
увидел новыми глазами,
увидел без слов
и удивился ему.
И захотелось проникнуть в него,
пожить в нём,
научиться его словам,
понять его немыслимую гармонию...

Но чудодей отбирает у тебя ведовские глаза.

И ты вспоминаешь о нудном поводе,
по которому надо куда-то спешить
под едким забензиненным солнцем
мимо этих примелькавшихся домов,
автомобилей, прохожих и пыльных деревьев.

1971

ЗЛО

Так рождается зло.
Начинает клубиться в мозгу
клок слепого тумана.
Диск безумной пилы
начинает вращаться.
Загорается злая звезда,
и лучи её жёсткие
бьют по вселенной,
заключённой под черепом нашим.

Застилает туманом глаза.
Позабыто всё доброе,
всё, что цвело, веселило и пело.
Радость сердца уходит ко дну,
захлебнувшись.
И зловещие птицы
гасят чёрным крылом
проблеск добрых надежд.

А пила своим диском клыкатым
режет нежные нити,
что с прошлым сплели наше сердце,
валит дерево дружбы
и кольца любви рассекает.

Ничего не осталось –
лишь бешено скачущий диск
и обрывки привязанностей,
и опилки дерев,
что так долго и мудро
мы растили когда-то.

Вот тогда возникает
вселенная зла
с мрачным,
вязко чадящим светилом.
Смоляные лучи
просекают наш мир.
Чёрным варом
обварена совесть.
Память выжжена.
Пепел надежд завивает иссушенный ветер.

И среди этой серой пустыни
ты как странник,
изгнавший себя
из приветливых, светлых просторов,
отрешённо влачишь своё бремя.

И горит смоляное светило
над иссечённым злобою лбом.

1966

ТАЙНАЯ ПРУЖИНА

Это что ж за скука, право!
Скука слева,
скука справа,
скука в прошлом,
скука впрок,
скука вдоль и поперёк!

Скисли мысли, сникли звуки
в паутине пыльной скуки.

Кто б поверил ей заглазно,
что она – многообразна,
и показывает нрав,
скуку скукою поправ;
что в пошлейшей из ужимок –
её тайная пружина:
скука выгнулась лозой,
зазывая в мезозой,
скука, скверно щурясь, щерясь,
позвала пожить в пещере...

Скука «от» и скука «до»
завила в пивной гнездо.
Скука «до» и скука «от»
очумела от наркот...

Боже, как она лукава,
скука слева, скука справа!

1982

* * *

Большой нелепый город
по берегу вразброс.
Он про́свистом пропорот
и про́дымью пророс.

Он врастопырку скачет
в овраг и на увал.
Кварталы раскорячив,
он свалки в них умял.

Наторкал огороды,
натыркал дыр и ям.
В затурканной природе
он – как сплошной изъян.

И пыль его и копоть,
цвет сажи и свинца
ползут, чтоб душу слопать
и высосать сердца.

Так почему же тянет
уживчивых людей
с округи берестяной
к его крутой страде?

1973

ЛИЦО НАШЕЙ ИНДУСТРИИ

1

Железные и урановые рудники,
нефтяные промыслы, угольные шахты,
обогатительные фабрики,
цементные и химические заводы,
металлургические комбинаты,
домны, градирни, конверторы,
электростанции,
железные дороги, авиалинии.
Сталь, прокат, цемент, железобетон,
кокс, руда, уголь, бензин, газ,
уран, дейтерий, пластмассы,
алюминий, титан, сплавы, алмазы...

2

Межконтинентальные баллистические ракеты,
спутники, бомбардировщики, истребители,
штурмовики,
авианосцы, ракетоносцы, крейсеры,
атомные подводные лодки,
танки, бронетранспортёры,
пушки, пулемёты, автоматы, пистолеты,
электронные приборы,
взрывчатые вещества,
отравляющие вещества,
бактериологическое оружие:
штаммы сибирской язвы,
бубонной чумы, холеры, тифа...
Подземные шахты для ракет, склады, убежища,
командные пункты,

бетонированные укрепления,
военные порты, аэродромы, полигоны,
танкодромы, ракетодромы...

3

Жалкое жильё, переполненные тюрьмы,
перегруженные больницы, иноземный хлеб,
устаревшие лекарства,
изуродованные цензурой книги,
обилие болезней и недугов...

1974

ДАР ОГРАНИЧЕНЬЯ

Слепые видят суть.
Личиной не отвлечь их.
Они свой свет несут
оценок человечьих.

Для нас
на сотни искр
обличье раскололось.
Для них
за ним – лишь смысл,
один лишь голый голос.

Услышат и тотчас
им ясно всё, что прячем;
и бьют не в бровь, а в глаз
провиденьем незрячим.

Их слух так изощрён,
что только по дрожанью
дает оценку он
и лжи, и подражанью.

Чувствилище души –
лицо их и вся кожа.
Рок,
зренье потушив,
прозрение умножил.

1982

ШЕСТЬДЕСЯТ МИГОВ

Мне было весело и просто,
я тратил жизнь
на пустяки.
И в шестьдесят
был, как подросток –
сам лёгок и шаги легки.

Нёс годы каменных печалей
с упорным злом двужильных кляч.
Но тяжести
не отягчали,
а оттеняли миг удач.

Безвестность по пятам ходила,
был в сердце кол, а в горле ком.
Опасть бы плодородным илом
для тех, кто вырастет потом;
стать строчкой в бесконечной книге,
пылинкой дня,
песчинкой дна...

Я знал всегда,
что радость – в миге,
а жизнь из мигов сплетена.

1986

ГОРЕ

Есть горе слёзное,
навзрыд,
сзывающее на подмогу,
оно в окно и в дверь стучит,
рвёт волосы
и бьёт тревогу.

Есть горе страшное,
молчком,
когда виски руками сжаты,
и седина косым клоком –
за ночь бессонную расплата.

Есть горе тихое, как грусть,
есть горе дерзкое, как смелость.
Я знаю горе наизусть.
Чтоб знала ты – мне не хотелось.

1952

* * *

Перехожена земля,
перетоптана,
не найдётся без следов, и закраина,
из дорог и тропинок соткана,
трактом скована,
шоссейной лентой спаяна.

Задохнуться,
запутаться,
загинуть,
потеряться безликостью безвестной.

И вонзится напоследок в спину
кем-то найденная
новая
песня.

1966

ВЫБОР

Рисунок веток яблонь –
изломы и углы.
Но сами-то деревья спокойны и круглы.

Поставьте стол и лавки,
соседей пригласив,
под яблоней рассядьтесь
в виду созревших нив,
и мудрость проявите –
задача не легка:
избрать округлось мира
иль прямизну штыка.

1976

* * *

Засилье болтунов,
заядлость болтовни,
завзятость прихлебал,
хлебавших искони
болтушку слов пустых
для жирного застолья,
и извлекавших куш
из кущей пустословья.

Словесной суеты бесчестные приёмы –
зигзаг обходных троп на Высшие Приёмы.

И выспренний почёт,
и эта важность жабья.
Ждут: нечет или чёт?..
А доля равно рабья.

Они всю жизнь, как бы
в орлянку проиграли.
Отвратней нет судьбы.
И горше нет печали.

1985

СРЕТЕНЬЕ

«Ворочалась надысь от обедни,
ластил сердце блаженный елей:
синтетицкий исподник намедни
подарил мне внучонок Сергей.
Так-то тёпло и для ишаасу
очень даже полезна синте...
не умолвишь.
Ну, доброго часу,
Матерь Божья, Исусе Христе!»

Было Сретенье. Птахи свистали
да коровы скучали в хлевах,
да сырые сосульки свисали,
и дымился по закутям прах.

А над маковкой Божьего храма,
за сплетением голых ветвей
небо надвое трассой разламывал
сын дочернин, внучонок Сергей.

1966

ПРИТЧА О ПРОСТОТЕ

Простые люди
вовсе не просты.
Просты не люди,
а просты посты.

Кто мусор грузит,
кто горох лущит...
Но так ли прост он,
в ком хрястят хрящи?

Иной простак
не слишком-то хитро
и хитреца подденет под ребро.

Кого в каком бы деле ни застал,
знай,
что не люди –
истина
проста.

1976

КОЕ-ЧТО ОБ ИСТИНЕ

Повторяют прописи
дети и студенты,
пропись многословная – удел профессоров.
Истины расхожие на манер цемента
заполняют полости сердца и голов.

В путанице жизни,
в этом спорном мире
всё же есть

бесспорное до конца годин,
что-то есть такое, как «дважды два – четыре»,
как «автомобили кушают бензин».

Вечна и незыблема
мудрость прописная,
всюду всеми признана,
везде утверждена.
Еву и Адама
Бог
не выгнал бы из рая,
если б ограждала их
прописей стена.

«Дважды два – четыре» –
соблюдайте свято,
вознесёт вас этот принцип до небес.
Мудрствуйте, лукавьте,
разрушайте атом,
но
не нарушайте
прописных словес.

1976

КОРОБ

В невидимом коробе за спиной
незаметно копятся дни, месяцы, годы.
Короб тяжелеет и всё ниже пригибает тебя
к земле.
Но он невидим,
и ты, как всегда, веришь:
лучшее дело твоё впереди.

«Вот возьмусь когда-нибудь
и придумаю такое, чего никогда не бывало,
что осчастливит мир,
станет радостью человечества!
Вот примусь и воздвигну памятник Времени!
Надо только отрешиться от суеты и мелочей,
выбрать часок, взяться, приняться, сесть...
Всё почти готово, всё в голове...»

И намеренье это, молодое, весеннее
живёт в душе, веселит.

А невидимый короб за спиной
всё полнится днями, годами, десятилетьями.

И ведь совсем немного надо,
чтоб придумать или воздвигнуть.

Надо
не «когда-нибудь» –
сейчас, тотчас придумывать и воздвигать.
Потому что «когда-нибудь» значит никогда.

А невидимый короб
с каждой минутой
всё тяжелей.

1971

МЕРА СЧАСТЬЯ

Витьё подёнок,
перевить вечерняя
лучей и сучьев, и ручьёв, и рук...

У праздничного этого сплетения
перенимай весеннюю игру:
вот сердце,
это птица,
это дерево –
с лучами и с подёнками их свей.

И если мерят счастье,
ты измерь его
весенней мерой соков и ветвей.

1965

КРУГ СОБЫТИЙ

Пророку подобает камнями быть побиту.
Красавица страдает, прикована к корыту.
Учёный в копях рубит свой философский
камень.
Невежда знанье губит, нажитое веками.

Пророк пребудет вечно, раз пострадав за веру.
Красавицу беспечно забудут изуверы.
А философский камень для мостовых сгодится,
чтоб без калош невежда мог в дождик
обходиться.

1999

* * *

Когда поймётся: больше не могу.
оставлю всё
и прыгну в лодку,
и оттолкнусь от берега,
оставив на лугу
лишь след в траве,
чуть видный и нечёткий.

А на воде не будет
ни следов,
ни вмятин пальцев,
ничего не будет.
И ломким оловом белесых берегов
всё прошлое река полудит.

Забвение туманов и росы.
Прозрачное речное равнодушье.
Здесь жизнь
и смерть
положишь на весы –
не дрогнут чаши, скованные глушью.

1962

ПРЕДЕЛ СУДЕБ

(сказ)

Тягуче действо деревенских похорон.

Ещё во тьме.
Продрогший дом.
И двери нежило отвёрсты настежь.

Там – усопший.
Он занял всё пространство целиком,
он здесь один,
торжественен и строг,
и отрешён
от заведённых им самим порядков:
печь холодна, не ужинали, не готовят завтрак,
на верстаке забыты инструменты,
в сенях – вразброс
(такие по ноге! удобные такие!)
сапоги.

Он сам создал свой мир
и сам его разрушил.
И вот готов к последнему пути.

И вот вокруг нелепая и нежилая жизнь.

1

В предсветной мути
чёрные старухи
тенями кособокими проскальзывают в дом,
неслышным шепотком, кивком невидным
хозяйку осуждают,
де,
не наняла монашку почитать псалтырь,
нет свечек тонких, освещённых в церкви,
нет образа, не зажжена лампада...

Хозяйка притулилась в уголку –
из тёмного платка выглядывает нос.
И все теперь узнали:
вся её сила, стать и властность –
всё не её,
всё от него,
всё с ним ушло.
Она теперь пуста,
она была пуста,
всегда пуста...

2

Тягуче действо деревенских похорон.

Рассвет
баском автомобильным фыркнул за окном.
Вошёл племянник, распугал старух
(тенями кособокими скользнули
за дверь, распахнутую в нежилое утро).
Слова племянника о деле,
о деле долгих деревенских похорон:
кого везти копать могилу
(две поллитровки, чтоб погреться –
сегодня утро с инеем, земля промёрзла),
кого послать за ёлками,
кто грузовик украсит
и где материю достать для украшенья,
кто привезёт оркестр,
и хватит ли вина к поминовенью...
Всё рассказал, распределил
и по делам печальным уехал сам.

3

А вместе с солнцем,
неживым, как будто нарисованным на небе,
пришли к усопшему проститься люди.

Пришёл, как бы случайно, мимоходом,
из дальней деревеньки пчеловод.
Он был в разбитых валенках
и новом, неношенном, на вате пиджаке.
Встал на пороге,
справился, когда и как скончался
и во сколько вынос.
Еще спросил, куда бы положить стамеску –
брал у покойного и не успел вернуть...

В дверях уже стоят другие –
работали когда-то вместе и воевали,
и вот пришли в последний раз.
Толкутся на пороге,
не решаясь увидеть его,
живущего в их памяти,
где живы и голос, и слова, и дело,
не решаясь последним взглядом
разрушить этот образ свой живой.

Потом пришла соседка
с пятилетней внучкой.
– Зачем же девочку? Не надо!
– Пущай посмотрит.
– Нельзя смотреть ей! Не води, не надо!

4

И девочка осталась у крыльца,
нашла последнюю ромашку,
цветочек, уцелевший после первого мороза.
И куколку достала из-под шубки,
и ей ромашку прикрепила к платью,
и засмеялась радостно и чисто.
И в тишине, где поселился шёпот,
смех этот прозвучал напоминаньем,
что жизнь не кончена,
что жизнь лишь начата,
что осени последняя ромашка
пришла к ребенку радостью и дивом.

5

Тягуче действо деревенских похорон.

Тут рядом, в сумрачных сенях
два родственника мрачноватых,
запрятав под очки усохшие глаза,
на крышку гроба набивают
крест из серебряной фольги
и пальмовые листья.
Неумелы их пальцы, нелюдимо дело,
непонятен, но нужен этот крест,
и эти листья из яркой переливчатой фольги.

Кому он нужен?
Им?.. Ему?..
Кому же?
Но так велит обычай, так всегда...
И ныне – без иконы, без свечек и лампад,
неверующий крест свой получает.
Зачем же крест ему?..
Быть может, это символ
всего, что перечеркнуто навек.

6

Молоденькая внучка усопшего
уж третий день не может удержать
саднящих слёз.
Распухли щёки, веки воспалились.
И вспоминает, вспоминает, вспоминает
последние распоряженья деда,
последние, но твердые слова:
– Готовьтесь-ко теперь к похоронам.
– Да что ты, дед, к каким похоронам?
– Готовьтесь.
Закажите оркестр.
Для гроба доски возьмите под навесом –
там сухие, для ульев припасал я.
Не печальтесь. Всему есть свой черёд.
Блины пеките и кутью готовьте –
меня здесь знают все, и все придут ко мне.
– Не надо, дед, не говори так!
Ведь ты еще позавчера
пришёл с работы
и, как всегда, обедал и рассказывал,
что встретил фронтового друга,
что вспоминал с ним
бои в Восточной Пруссии,
военные дороги...
Ты выжил на войне,
ну, как ты можешь
сейчас такие страшные слова...
– Я говорю – ты слушай.
Не страшно ничего. Я всё видал.
О деле слушай:
пчёл продайте, вам с ними не управиться.
Дом требует ремонта –
материал и деньги я собрал.

Ветлу, что с краю огорода –
спилите – застит свет, мешает огурцам.
И напоследок:
...когда родится у тебя мой правнук,
так это...
именем моим и назови...

О детях собственных она не помышляла,
сама еще вчера была ребёнком.
Так, значит, у неё родится сын!
Родится сын...
Родится у неё.

И дедовы слова
открыли ей
всю взрослость её лет
и место
в ряду родни,
и в продолженьи рода,
участие её в грядущих судьбах...

И вот стоит под ветром на крыльце,
и слушает смех девочки соседской.
Игра и кукла, и ромашка,
и непричастность к жалящей печали
так странны здесь
и так сильны напоминаньем,
что мёртвые уходят,
а живые остаются.

7

Тягуче действо деревенских похорон.

К ограде подогнали грузовик
и ветками еловыми укрыли,
и красное полотнище, и креп
к опущенным бортам кой-как прибили.

Для жизни долгой долго строят дом,
для смерти домовину лепят наспех.
Для жизни украшенье – серебро,
для смерти – жесть и жалкая фольга.

Перед забором собирается толпа.
Кто дань последнюю умершему отдать,
кто поглазеть,
кто, мимоходом проходя, невольно встал.

А в доме –
там последний миг.
Сейчас поднимут, унесут навек
из дома и из мира.

Сестра усопшего
всем, кто нести согласен
даёт на память белые платочки –
их на рукав повязывают левый.
Таков обычай.

Тягуче действо деревенских похорон.

Уж кажется – не утро миновало,
а целый год с рассвета протянулся.
Не полдень – середина целой жизни.

И только вместо солнца –
холодное и плоское пятно.

И всё ж тягучей тягости и боли
конец приходит, как всему на свете.
Но перед этим тягостным концом
вся тяжесть, тягость и томленье
сгущаются в огромный тяжкий ком.

8

Гроб поднимают.
Как он неподъёмен!
Как будто сам усопший
не хочет покидать родное место.
Его уносят, будто бы насильно.
Его уносят навсегда.
И слово навсегда
встаёт здесь в полный рост
и заслоняет все прочие слова.
– Несут!
– Несут!
– Несут!
Сгущается толпа у дома.

Недвижны люди,
и глаза недвижны.
Недвижно солнце,
неподвижен воздух,
застыло небо, ветки недвижимы.
И даже гроб несущие – стоят.

И только гроб с усопшим
передвигается
из двери по крыльцу,
и по дорожке, и – к калитке...

А за калиткой –
первая большая остановка.
На табуретки водрузить его хотят.
И, оказавшись тут как тут старушка,
приказывает звонким шепотком:
– Не сразу опускайте-то, не сразу!
Положено – чуть опустив, поднять

и снова опустить,
и так проделать трижды,
и только после уж поставить.

Поставили.
И хрипло грянул
оркестр из двух басов, двух флейт и барабана.
И эти звуки режут душу.
И слух уже не в силах
их выносить – так тяжесть велика.

Тягуче действо деревенских похорон.

9

По улице несут, по серой пыли,
вдоль серых изб, домов, заборов.
Сначала целая толпа,
затем людей всё меньше, меньше...
И вот остались только родственники да друзья.

А улица всё длится, длится, длится,
всё тянется вдоль ледяной реки
по плоским, пыльным убранным полям.
Как будто бы однообразье жизни
и скучные, и скученные дни –
всё скучилось на этих трех верстах
от дома и до кладбища.
И грузовик
без надобности ехал в отдаленье –
оставшиеся люди не хотели
доверить тяжесть горькую машине.

10

Пред покосившейся оградой деревянной
у почерневших от дождей ворот
гроб ставят.
И надрывно пронзает уши и сердца оркестр.

И вот несут по кладбищу.
Так тесно от могил, оград, от памятников,
от крестов,
так узки проходы,
сплошь забитые бурьяном,
так путь извилист и запутан ход,
что кто-то уже высказал сомненье –
не заблудились ли средь кладбища со гробом...
Ещё им не хватало заблудиться
с печальной этой ношей на руках...
– Нет, нет, не заблудились. Так идти, –
племянник говорит.
Несут, несут, несут – и нет ещё конца,
и стёртые до крови плечи
почти кричат, об отдыхе мечтая.

Тягуче действо деревенских похорон.

11

И вот прощанье
на тесном промежутке между оград и кучами
земли.
Вдовицы плач
и крик старух,
и голос печальницы-синицы на кусте.
И слова прощанья,
которые сказал старинный друг.

Вся жизнь прошла
за этой речью безыскусной –
и встал в сознанье образ
как символ всех судеб.
И люди подивились,
что среди них жил столько испытавший человек.
В минуту эту
сама История
склонилася над ними и над ним,
и явственно её дыханье было.

12

И вот уж опускают
из времени в безвременность,
из мира в мир иной.
И бросают горсти
суглинистой, на пепел похожей
скудной северной земли.
Потом скребут лопаты
и медленно с землёй ровняют яму.

И холмик поднялся.
И кто-то вздумал
прихлопнуть насыпь рыхлую лопатой.
– Нельзя, нельзя! –
старуха подошла, –
земля сама осядет, как захочет,
земле мешать не надо...
Она должна быть пухом...

И уж кутью дают –
с изюмом рис
и по блину, и стопку,
чтоб тут же помянули
того, кому уж боле не вкусить
земные яства
и не видеть солнца.

И тут вдруг понимаешь –
это суть,
без коей нет живого на земле:
еда и солнце.

Тут понимаешь вдруг всей кожей,
всем нутром,

что жизнь проста,
как зёрна,
жизнь ясна как солнце –
вот был и вот не стало человека.

И жизнь сложна
неведомою сутью,
когда зерно дарует жизнь,
когда меж был и нет
вмещается бессчётность всех выгибов
судьбы,
всех радостей и всех печалей,
бессчётность всех рождений и смертей...

Тягуче действо деревенских похорон,
но и оно кончается, как всё на свете.

1973

XII. ДОМАШНИЕ ДИФИРАМБЫ

ВЕЛИКИЙ ПРОФЕССОР

(песня)

По мути научной в научную жуть
мы долго блуждали в потёмках,
Пока нас не вывел на праведный путь
Великий профессор Потёмкин.

Мы шли по науке без всяких наук,
Наук о науке не зная,
Был страшен наук заколдованный круг
И бездна науки без края.

Профессор взлетел, словно горный орёл,
Взошёл будто ясное солнце,
Он мощный прожектор Науки навёл
В убогое наше оконце.

Мы пива не пьём, не едим больше щей,
Забыли совсем об обеде –
Под флагом его выдающих идей
Идём от победы к победе!

ЮБИЛЕЙНЫЙ САМОГОН

Из предисловий-славословий
варю елей на юбилей.
«Сова Минервы» покрик совий
зовёт подмешивать щедрей.

«Рожденье гения» без Гени
свершиться, право ж, не могло б.
Как не сказать, что Геня – гений,
чтоб круче заварить сироп!

«Социологию науки»
с елеем смешиваю вновь,
беру в трясущиеся руки
«Тебя, как первую любовь»...

Обилие духовной пищи
всех жанров, стилей и сторон!
Прими же, старый мой дружище,
сей юбилейный самогон!

МОЙ НОВЫЙ ДОКТОР

Бывало – схватит поясницу –
бегу за доктором в больницу.
И если в зубе засвербит –
на доктора имею вид.
И даже в случае желудка
советы доктора – не шутка.

Но вот пришла ко мне пора –
не помогают доктора.
Знать, в докторах тех мало толку.
Одна надежда – доктор Волков.
Он даст совет: от поясницы –
рассол селёдочной горчицы.
Он посоветует от зуба –
настойку перца или дуба.
А что касается желудка –
поможет силою рассудка.
Затем он несколько игриво
расскажет мне о пользе пива.
И чистый взор потупя кротко,
распишет перечную водку.
А после, не без огонька,
охватит тему коньяка...

Мне полегшало. Он таковский,
мой новый доктор философский!

ЛЕЙЛА

Всегда прислушиваюсь к Лейле.
Она строга: ты воду лей ли,
боржом ли пей, нарзан хлещи ли –
получишь выговор от Лили.

Критическою проткнут спицей,
я маюсь нынче поясницей.

Как на булавке некий жук,
в диване корчусь и визжу.

Увы, в космическую эру
нет поясничных инженеров,
чтоб разобрав её на части,
свинтить и вновь увидеть счастье!

Извлечь критическую спицу
и успокоить поясницу!

Я, как кустарь-единоличник,
леплю к горчичнику горчичник,
иль настоявши на клею,
простую водку просто пью.

И всё ж от боли мне не спится –
торчит из поясницы спица!

Ну что ж, коль так – мне чёрт не брат –
прочь водку! Пью денатурат!

Я дамской критике не внемлю –
напитки крепкие приемлю!

* * *

Осенняя морская синь
и в небе, и в воде,
и солнце чистое висит
на золотом гвозде.
Встал город,
как большой орган
в готической кирке.
Он гимны западным ветрам
гудит один в тоске.
А я по берегу иду.
Плывут цветы медуз,
и море
эти вот стихи
мне шепчет наизусть.

1946









Книга седьмая

«НАЧАЛО ПЕРЕД КОНЦОМ»

2002

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК

Нас обступает двадцать первый век,
а мы коптим в своём средневековье,
и Хан-пахан, безликий Имярек,
нагайкой нищеты валтузит нас до крови.

Кучкуемся по избам, по углам,
в бетонных балаганах и пещерах.
Повсюду пьянь и рвань; везде бедлам
гнилые зубы через щели щерит.

Всё тот же дьяк, прищурившись хитро,
скуфейку и кафтан свой носит скрытно.
Компьютер, как гусиное перо,
поскрипывает требухой магнитной.

Сказитель в теле-радиозурну
бренчит одно и то же год от года.
И гонит юность на свою войну
ничтожный старец, алчный воевода.

Князёк над нами властвует: мурза
и сборщик податей бабай в бандитской маске.
И все мы дружно голосуем «за»,
согласно плёточно-нагаечной подсказке.

Одень нас, хоть в дерюгу, хоть в парчу,
всё те ж мы: после голода и розог
целуем руку гаду-палачу,
под ноги воеводе стелем розы.

Ау! Откликнись, где ты, новый век?
Со всех сторон лежит средневековье:
под скрип компьютеров (а может быть, телег,)
спит с ядерной дубиной в изголовье.

2000

ПОДВИЖНИКИ

Чрез годы, месяцы и миги,
кряхтя подвижники несли
гнетущие к земле вериги,
чтоб оторваться от земли,
чтоб воспарить над временами,
осилить властную Судьбу,
раскрыть
глаголов смысл и пламя,
и крылья, скрытые в горбу;
чтоб лоб, искривленный железом
расправить ангелы смогли б,
и над мучительным разрезом
стал явен светозарный нимб.

2000

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗМА

Взяв за шкирку,
ясным днём, а то и ночью гулкой,
вывожу свой организм на прогулку.
Заставляю не скрипеть сердце сумкой,
на давленье не давить лишней рюмкой.
Добиваюсь я от ног год за годом,
чтоб увереннее шли самоходом.
Вместе с сердцем в этот час
не легко нам
кровь по жилам перегнать самогоном
И заставить вялый мозг,
сев под вязом,
мысль со словом увязать
самовязом.
А потом смирить свой нрав правдой горькой,
и подкорку подкрепить хлебной коркой.
Организм я свой веду,
взяв за шкирку,
повторяя день за днём
под копирку.

2000

* * *

Накрывшись в непогодь рогожей,
по стогнам городов и сёл,
и я, калика перехожий,
чрез реку века перебрёл.

Оставил берег запустелый.
И новый берег тоже пуст.
И никому давно нет дела,
какое слово рвётся с уст.

Рогожа, драные калижки,
растерзанные небеса.
Здесь дно найду,
хоть нет покрышки
и невозможны чудеса.

2000

В МЕТРО

С того конца вагона –
как вспышка, боль-прострел –
оттуда незнакомый
знакомо поглядел.

И бровь... и острый прочерк
пугливого зрачка...
Строкой тире и точек
дошли издалека.

В подземном гуле весть я
поймал в вагонной мгле
от друга...
(полстолетья
покоится в земле).

2000

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Плаха. Дыба. На окне решётка.
Так привычен этот интерьер...
Издавна продуман
и размечен чётко
мерный ход чрезвычайных мер.

Вот палач, не торопясь, устало
цыплячьи плечи жертвы затянул ремнём.
В пять минут признаньем больше стало –
вылечил от запирательства в один приём.

Богатырь пусть дыбится на дыбе
(ремешком одним с таким не обойтись)...
Глядь, и показанье нашкандыбал.
Наплевать, что тело – вниз,
душа – отдельно – ввысь.

Захожу, не зная, что за бочку
мне подкатят сквозь бредовый дым,
чтоб палач устало вставил точку
в завершенье топором тупым.

2000

В БАНЕ

Прикрывши стыд помятой шайкой,
помывочный миную зал...
Досталась шайка-оплошайка –
водицы чистой не достал.

Хотел промыть не только тело,
и душу блазнилось омыть,
но в этой мойке ошалелой
лишь гнусь да грязь на волчью сыть.

Мерзейшим покриком и свистом
наш век отмечен средь веков.
Тут и чистилище не чистит,
и гадость бьёт из родников.

2001

ОФИГЕННЫЙ ПОФИГИЗМ

Капитально, офигенно
дан инженерией генной
изорвавший нашу жизнь
офигенный пофигизим.

Ты в былом не сыщешь гене
пофигизма офигенней!
Облегчает лучше клизм
офигенный пофигизм!

2000

УМУЧЕННАЯ РУСЬ

Не жду ответа на вопрос:
неужто нам даны навеки
все эти грозные цари,
все эти гнусные генсеки?

В чинах чиновные глупцы,
бесчинствующие уроды,
не ведавшие что творят
и в воду прущие без броду.

Вода краснеет, словно кровь,
когда равняют кровь с водицей...
Но для державных дураков
лишь кровь должна веками литься.

И умирающая Русь
навек свои смежила веки.
Её умучили цари,
добили гнусные генсеки.

2002

* * *

Комедиант ломал комедию
о колено пополам.
Комедиантское наследие
рассыпалось по полам.

Прибаутки, шутки плоские,
туповатый трёп острот,
прежних клоунов обноски,
шляпа задом наперёд...

Не ломал бы ты комедию,
сохранил её как есть,
и, глядишь бы, из наследия
уберёг отчасти честь.

2002









СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

(из юношеских стихов)

НА ПОДНОЖКЕ

За рекою дымной,
В вышине пустынной
Мечется закат,
И в пурпурном свете,
Рвя пространства сети,
Поезда летят.
На подножке цепко –
На затылке кепка;
Долог трудный путь!
Мы летим сквозь ветры,
Мчатся километры,
Бьётся воздух в грудь.
Нас война послала
За пшеном и салом,
Голод дал билет.
В вихре чёрной пыли
Криком страшной были
Оставляем след.
Помним, что за каждым
Смерть бежала дважды
В злобе и крови –
Потому мы рады,
Раздробив преграды,
Видеть, как вдали
За рекою дымной,
В вышине пустынной
Мечется закат
И в пурпурном свете,
Рвя пространства сети,
Поезда летят.

Шилово, 15.08.1943

ПОЧЕМУ?

Почему в лесу так тихо?
Почему здесь бури нет?
Только лёгкие снежинки совершают свой полёт,
Только в мягкие сугробы
С сучьев иней упадёт,
Да из дальней дровосеки воздух звуки принесёт...
Я стою и удивляюсь: почему же бури нет?
Разве мало, что мой разум в гром и молнию одет?
Почему же снег не тает от душевного огня?
Почему всё те же сосны, те ж кусты вокруг меня?

1943

НОЯБРЬ 1943 ГОДА

По старым улицам пройдём
В последний раз, друзья.
Последний раз увидим дом,
Где мать жила, семья...

Где вместе детство провели,
Куда пришла война.
Откуда радости ушли,
Ушли, как тени сна.

Идём, друзья, в осенний снег,
В сырой ночной туман.
Поверим – не схоронит всех
Смертельный океан.

Ведь кто-нибудь придёт назад,
Окончив трудный бой.
Он вспомнит осень и ребят,
Весь «год двадцать шестой».

И те, кто там, в ночной дали,
Остались навсегда,
В его сознании пришли
К родным, в свои дома.

25.11.1943

* * *

Флегматичная кошка в старом дедовском доме,
Безучастно-покорная, вечно голодная кошка.
Все её бьют и шпыняют – все её кормят.
Откуда пришла и зачем?
Я, как и все, даю ей щелчки и жалею –
Сам ведь пришёл и кормлюся пищей чужой...
И каждый вечер, ветряный вечер осенний,
Когда по радио диктор орёт о войне,
Приходит брат,
Захудалый, голодный мальчишка.
Робко подходит он к бабке и просит:
«Бабка, дай хлебца». И та,
Отвечая, что хлеба нет у самих,
Ломоть отрезает широкий.
И братик
Идёт в осенний вихрящийся ветер.
Бедный и жалкий мой брат!
И каждый раз я пророчу ему,
что он будет поэтом,
Таким же, как Горький.
И веет от брёвен избы
Чем-то по-русски широким,
Хотя в углах притаилася жадность.

Мосолово, 07.08. 1944

ПОТОМОК ВОЙНЫ

Да! Я проклял отца и мать,
День рожденья забыл и год.
Никогда не смогу вспоминать
Свою землю и свой народ.

Нет земли и народа – нет,
Я не знаю, зачем я и чей,
Почему столько горя и бед
Принесло мне скопище дней?!!

Меня гонит от дома старик,
Дети в страхе бегут от меня –
Только камни и грубый крик,
Да чужая страна и земля.

Я спросил у людей: «Зачем
Всюду травят меня и бьют?
Разве жизнь моя ад и плен?
Я не мог жить, как все живут?

Почему без семьи я, один
И в чужой, холодной стране,
Ведь я был же чей-нибудь сын?
Ведь я жил на родной земле?»

Мне ответили: «Нет, никогда
Ты не жил на родной земле,
Твой отец был немецкий солдат,
Ничего он не знал о семье.

Он пришёл под железный гром,
По земле нашей стал гулять.
Точно сука за тем двором
С ним твоя целовалась мать.

Нам не нужно тебя – уйди,
Ты напомнил войну и страх,
Сердце зверя в твоей груди,
Дым пожаров в твоих глазах.

Тогда проклял отца я и мать,
День рожденья забыл и год.
Счастья нет для меня вспоминать
Свою землю и свой народ!

14.04.1944

ВЕСТЬ

По Оке, по берегу
Потерялись вдали
Сёла безмужицкие
В горе и печали.

Старые да малые
Брошены в деревнях.
Сыновья с мужьями
В тридесятых землях.

Как пройти не ведаю,
Чтоб не слышать плача –
Так уж, знать, положено,
Не ступить иначе.

По пути далёкому,
По приокским сёлам
Много вестей носится
Погребальным звоном.

И одну лишь весточку!
С радостью великой
Примут долгожданную
Без тоски, без крика.

Что за радость, знаете,
Не сказать словами.
Этим летом праздновать
Будем её сами.

14.02.1945

ВЕСНОЙ

Серый плакат: строем немцы идут,
Подняты руки – «Гитлер – капут!»
Рядом,
Под мокрым снегом промок,
Грязный обрубок,
Без рук и без ног.
Площадь от туч стала тёмной, как склеп.
«Братцы! Подайте калеке на хлеб!»

Двое усталых.
Блеснул автомат.
Смуглые лица мальчишек-солдат.
Кованых стук в мостовую сапог.
– Кто же весною на фронте не мок?!!
– Сами такими, может, придём.
– Чёрта ли плакать здесь под дождём!

Всякий от горя оглох и ослеп.
– Братцы! Подайте калеке на хлеб!
Люди по лужам спешат и бредут
Мимо плаката, где «Гитлер – капут!»

8.04.1945

ГРАНИТ

Мороз без устали ковал морозные узоры
И клочья пара рвались из дверей.
О пище и тепле мечты и разговоры
Толпою правили сильнее всех идей.

А там, в проезде, где толпа домами сбита,
У полированных колонн текла;
О, кто б подумать мог, что в холоде гранита
Источник непочатого тепла!

Я подошел к стене, сорвал перчаткой иней,
Картину эр планеты обнажил...
И хлынули вихрящейся лавиной
Переплетения слоёв и жил.

Не в силах двинуться, с поднятою рукою
Я глаз не мог и не хотел отвесть:
Ведь пламя вечности бурлящею рекою
Под инеем несло сжигающую весть.

И все, имевшие тепло в квартире,
И те, кто не видал ещё зимой тепла,
Забыв о холоде, смотрели, как в грядущем мире
Всё та ж река гранитная текла.

А я, не помня день, названье года,
Забыв, что холод в улицах звенит,
Лишь удивляться мог, как древняя природа
Вложила вихри пламени в гранит.

Март 1945

РАЗДУМЬЕ

Пыль земли под моими ногами.
Звёздная пыль над моей головой.
Может быть, равны они.
Может быть, равно ничтожны?
Может быть, глуп я: понять не могу
Ясных законов природы,
Что звёзды завтра же в тусклую пыль
обратятся,
И кто-то будет раздумывать так же, как я,
Стоя над звёздною бездной...

1943

БУДУЩЕЕ

Огонь над пропастью блестит
На грани двух миров.
Он вьётся вверх, то вниз летит,
То в пламя птицу обратит,
То в угли мирный кров.

В испуге люди убегут
Безумство в их глазах.
И только я останусь тут:
Не страшно мне, что кровли жгут,
Что реет смерти стяг.

К огню неведомой тропой
Я брошусь сквозь туман
И пламень я зажгу другой,
И встану твердою ногой
В тот мир без слёз и ран.

Я из огня построю мост,
Я крикну беглецов.
Они поймут, что план мой прост,
Но перейти дорогой звёзд
Не сыщешь храбрецов.

1943

ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ

Я шёл мимо кладбища в полночь,
Я слышал тяжёлые вздохи,
То остовы плакали горько,
Склонившись на старые сохи.
Скелеты унылых клячонок
Плелись, спотыкаясь о плиты
И сохи взрывали могилы,
Где чёрные кости зарыты.
И те поднимались с проклятьем
И в шествие вяло вступали,
И знаками звали отставших,
И что-то знакомым кричали.
Но скрылись они за горою.
Туман опустился на землю.
Ужасный вдруг скрежет раздался,
И звукам я в ужасе внемлю:
Шагая по бороздам важно,
Окутана в саван туманом
Шла смерть по разрытым могилам
И сеяла черепы в ямы.
Засеяна страшная пашня;
Холмами накрылася нива;
Кресты вырастают и зреют,
А смерть отдыхает лениво.
Я в ужасе бросился наземь,
Хотел позабыть о прошедшем...
А утром нашли меня люди
И звали с тех пор сумасшедшим.

1943

ЗАПАД

В залах прекрасных хрупкие люди
Слушают звуки и звуком живут,
Вихри симфоний и нежность прелюдий
Вместе со вздохами ищут и пьют

Звуки дрожат, пропадают и гаснут,
Снова родятся, в веселье летят...
Люди же грустны – веселье напрасно
Слёзы им нужны, все грусти хотят.

В музыке, в звуках печальных и вялых
Слышится сладкий настойчивый зов,
Зов наслаждений последних кровавых,
Тихих как шёпот доверчивых слов.

Люди стремятся друг к другу в объятья –
Жизни им хочется, бодрости, сил...
Видят на каждом природы проклятье,
Чувствуют смерть и дыханье могил.

1943

ПОСЛЕДНЕЕ

Созвездья дрожат от немого вопроса,
Покрылся огнём горизонт.
Проходят составы, грохочут колёса:
«На запад, на запад, на фронт!»
Солдат молодой, не смотри на равнины,
Забудься под грохот колёс.
И пусть тебе снятся родные картины
Без дыма, страданий и слёз.
Последние сны и последние думы
Пусть будут, как бабочек рой,
Пусть их не тревожат ни вопли, ни шумы,
Рождённые страшной войной.
Зачем вспоминать о плохом, неприятном
В последнем чудеснейшем сне?
Пуст грохот бормочет о чем-то невнятном –
Ты в снах вспоминай о весне.
Не надо, не думай о смерти грядущей,
Догадок ненужных не строй,
И будешь стоять над могилою ждущей
Без страха – обычный, простой.
О чём сожалеть? Ты родился во время,
Когда без войны не живут,
И каждое, только проросшее семя
Срывают и топчут, и жгут.
Созвездья дрожат от немого вопроса,
Покрылся огнём горизонт.
Проходят составы, грохочут колёса:
«На запад, на запад, на фронт!..»

1943

ВОЙНА

Звёзды украсили небо ночное.
Ночи цветы на земле распустились,
А города умирали от зноя.
Головы улиц в агонии бились.

Звёзды покинули гнёзда созвездий
Реяли в небе, как знамя кометы,
Пели о часе ужасных возмездий...
Это не звёзды – зигзаги ракеты.

Ночью тюльпаны цветут лишь мгновенье,
Люди вдыхают не запах приятный.
Огненный смерч – тех цветов дуновенье,
Шёпот их листьев, как грохот невнятный.

Хмурится поле морщинками глины.
Люди в морщинах спешат, зарываясь,
Смотрят сквозь щели, как гибнут долины,
В траурный пепел и дым одеваясь.

Люди боятся. Дракон ядовитый
Каждого хочет пожрать, растерзавши,
Хочет увидеть, как кровью облитый,
Мир захлебнётся в убийственном марше.

Жалом штыка и разрывом снаряда
Ткут неустанно силочную сетку,
Чтоб, не пугаясь смертельного взгляда,
Бросить дракона в железную клетку.

1.08.1943

ПОХОД

Наш путь освещали зарницы.
Мы шли каменистой тропой.
Кричали испуганно птицы,
Гремел под обрывом прибой.

За нами – родные селенья
Остались в тумане ночном...
И бури зловещее пенье
Глушил нарастающий гром.

А там, где кончалась дорога
Нас ждали в окопах враги...
Под голос походного рога
Прощально стучали шаги.

Мы знали, что нам не вернуться,
Что смерть за соседней горой,
Что слёзы у матери льются
И плещет холодный прибой.

За сына, за младшего брата
Мы жизни положим в костёр.
Пусть смерть молодого солдата
Спасёт матерей и сестёр!

Наш путь освещали зарницы.
Мы шли каменистой тропой.
Кричали испуганно птицы,
Гремел под обрывом прибой.

26.08.1943

* * *

Я люблю широких улиц
Развевающийся грохот,
Шум моторов, брызги света
И толпы весёлый хохот.

Блеск витрин, набитых пищей,
Льдом стекла и пёстрой тканью,
Звуки джаза и пивные
С пьяным звоном, с грубой бранью.

И теперь, когда все серо,
Только ветер, снег да холод,
Да гуляет по бульварам
Зимний гость, военный голод,

Я брожу под снежной вьюгой
А в мечтах все тот же грохот,
Шум моторов, брызги света
И толпы весёлый хохот.

20.02.1944

ДЕРЕВНЯ

Извечно будет здесь покой,
И будет дом стоять извечно,
И плакать ива над водой
Не перестанет бесконечно.

В покое сереньких небес
Пройдут года, за летом лето,
Но не изменит шума лес,
И поле не изменит цвета.

И, оглушённый тишиной,
Не знаю плакать иль смеяться –
Под этой кровлей полевой
Мне городские шумы снятся...

Мосолово, 30.04.1944

ПЕРВЫЕ МЫСЛИ О ГОРОДЕ

Я пришёл из переулков тёмных,
С длинных улиц, залитых луной,
От людей усталых, обойдённых,
Позабывших отдых и покой.

Я не знал, что буду вместе с ними
Проходить по улицам, спешить
И тянуть в холодном зимнем дыме
Серых дней навязчивую нить.

Я не знал, что будет радость видеть
Жёлтых ламп янтарные огни.
Я не мог ни думать, ни предвидеть,
Что придётся проходить в тени...

Что придётся радоваться хлебу...
(Пыльным коркам, чёрным и сухим),
Что пошлёт поклон старушка небу
За плывущий тёплый, синий дым.

Что, устав от беготни и шума,
Я приду и вспомню о былом.
Прилетит из мрака сказка, дума,
Тени дней наполнят старый дом...

И проходит старое за дымкой
Тусклых пятен жёлтых фонарей –
Прилетают мысли невидимкой
Из лесов, оврагов и полей.

В тьме ночей я часто вспоминаю
Дальних рощ увядшую листву,
Синий клин реки, избушку с краю,
Грязный тракт, телегу на мосту.

Вспоминаю тихие просторы
И себе стараюсь объяснить,
Как я мог на улицу и споры,
Шёпот трав и ширь полей сменить?

Кто позвал? Кому? Зачем я нужен?
Я не знаю... Привела мечта,
Я пришёл и вот теперь загружен
Странной думой с утра до утра...

19–27.10.1943

ПОЭТУ

В тесной и пыльной каморке,
В стонах ужасной муки
Петь о бескрайних ветрах,
Видеть сиянье комет.
Перед последним дыханьем
К жизни протянуты руки –
Вот в чём великая радость,
Вот твоя сила, поэт!

Там, где отчаянье смерти,
Видеть улыбку счастья,
Там, где окончились жизни,
Слышать весёлый привет.
В души, закрытые злобой,
Влить доброту и участье –
Вот в чём твой долг человека,
В этом призванье, поэт!

27.09.1944

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Он вошёл в мохнатом утреннем халате,
У камина сел и трубку набивал, не торопясь...
Мог ли думать я, что в неразрывные объятья
Смерть возьмет того, кто лишь о жизни мог писать!
Дом Союзов. Очередь. Венки у гроба.
Чёткий профиль на портьере тяжкой.
Умереть не мог творец живого слова,
Жизнь писавший самой сочной краской.
А у проходящих мимо скорбь на лицах,
Тишина застыла на часах у входа.
Нет, не верю! Умереть не мог,
чеканивший в страницах
Бури восемнадцатого года!
Он пойдёт по бесконечной жизни с нами,
Многих пережив, свой путь направит дальше,
Заставляя жить бумагу сильными, как Русь, словами,
Отметая хлам литературной фальши.
Он останется как был, одной России верным,
Разве умер он, учивший жизни беспрестанно,
Звавший к мести в тяжком сорок первом,
Даровавший жизнь Петру и Грозному Ивану.

Москва, 25.02.1945

ПОТОМОК

Я уйду от серых зданий,
От усталости и бед,
В поле сказок и преданий,
В азиатский, буйный свет.

В этом поле, в этой дали,
В шуме звонких, сочных трав
Прапрадед, лихой татарин,
Завещал мне буйный нрав.

Ничего, что мал я ростом,
Что здоровьем хил и вял –
В этих травах, в этих вёрстах
Он мне силу завещал!

Полюбил я больше славы
Крик осенних журавлей,
Ветра свист, густые травы,
Вихри диких лошадей.

И не складных песен звоны,
И клинков блестящих сталь,
И татарские знамёна,
И степей зелёных даль.

Перед битвой я по стану
Пролечу на скакуне,
В синей дали не устану
Лихо мчаться на коне.

Ворон пусть зловещим карком
Смерть пророчит мне в бою –
Косоглазую татарку
Больше жизни полюблю!

Закипела удалая
Кровь татарская в груди,
Радость вольности хмельная
Разметалась по степи.

Эй, зелёные просторы,
Даль некошеных полей,
Братья дедов, реки, горы,
Блеск костров во тьме ночей!

Сын пришёл! Встречайте сына
Шумом звонких, сочных трав –
В этом запахе полынном
Я нашёл свой буйный нрав!

27–31.03.1944

СНОВА ОСЕНЬ

1

Серенькая осень. Сорок первый год,
Самое начало горя и невзгод.

Деревенской школы непривычный класс,
На столе трепещет и коптит моргас.
И не до ученья в деревенской мгле
Беженцы и слухи в школе и в селе.
Так тревожно время, далеко Москва.
Ни в селе, ни в школе друга не сыскать.
И сижу, скучая, вижу лишь моргас
И не вижу добрых твоих серых глаз.
А когда увидел – жить без них не мог
Средь войны и стужи, горя и тревог.
Ты ушла в ту осень. Я не знал куда:
Может, ненадолго, может, навсегда.
Только каждый вечер ты была со мной
В заснеженной школе, в поле за пургой.

2

Может быть, другую я весной любил,
Но тебя, как осень, в памяти хранил,
Серенькую осень, сорок первый год,
Самое начало горя и невзгод.
Знал, что снова встречу, лишь не знал когда –
Ты пройти не можешь в мире без следа.

3

И настала осень, принесла хлопот –
Я нежданно вспомнил сорок первый год...
В университете, в самый шумный час
Я нашёл загадку твоих серых глаз.
Подошёл неловко и напомнил вам
Серенькую осень, дождик по полям,
Деревенской школы непривычный класс,
В тот далёкий вечер огонёк-моргас.
Ты хотела вспомнить... только не могла –
Столько пережито в чёрные года...
Может, и не нужно помнить, что прошло,
И не надо помнить то, что вдаль ушло
Серенькую осень, скучное село.
Мы опять расстались. Ты ушла... куда?
Может, ненадолго? Может, навсегда...

17.09.1944

ПОТОМКАМ

Нет! Не изгладить веками
Память о буднях нашествий,
Гибель великих армий,
Ужас кровавых бедствий!

Люди счастливого мира!
Слушайте наши крики!
Мы – ваша гордость и сила,
Вы нашей славой велики!

Каждая капля крови,
Нами пролитая в битвах,
Плач материнский и вдовий
В наших тревожных молитвах –

В ваших садах заставит
Цвести ярко-красные маки,
Сил вашей жизни прибавит,
Радость засветит во мраке.

Счастье на ваших лицах
Куплено нашей мукой.
За мир в ваших светлых столицах
Мы умирали без звука!

Знали, что счастье близко,
Шли на погибель смело,
Чтобы под солнечным диском
Ваша радость блестела!

Пусть же летит над веками
Память о буднях нашествий!
Нашими скован штыками
Мир без печали и бедствий!

Москва, 27.09.1944

* * *

Некому отдать слова стихов
Новогодней ночью небывалой.
А среди морозов и снегов
Так давно душа любовь искала.

И найду ли в будущем году
На дорогах жизненной метели,
Или снова одинок приду
Под сиянье новогодней ели?

31.12.1944

МОСКВА

Затуманятся звёзды над крышами,
Побегут по мостам огоньки.
Лучше музыки люди не слышали,
Чем безмолвие тёмной реки –

Потому после дня пустозвонного,
Когда осенью веет земля,
Я спешу с безрассудством влюбленного
К черным башням родного Кремля.

Здесь картины веков неизведанных
Вольной силой и славой живут,
Сотни образов, ночью навеянных
Слов, как пленники, участи ждут...

И в покое блуждающей осени
Пропадают огни на мостах –
Это полчища дикие бросили
Свет костров на речных берегах,

Это блещут доспехи татарские
На холме у подножья Кремля,
Это встали дружины бунтарские,
Иль московские нивы горят?

Или снег заблестел под обрывами?
Или сёла российские жгут?
По дорогам, под чёрными ивами
На столицу французы идут?

Нет, из рельс на снегах заграждения
Заблестели под зимней луной –
Это новых врагов наваждение –
Это немцы стоят под Москвой.

Здесь пути на Берлин открываются,
Вот отсюда, от башен Кремля
Сила русских людей поднимается,
Блещет первой победы заря!

Как же мне не любить без волнения
Этих стен, эти точки огней,
Когда здесь вот прошли поколения
Замечательных русских людей!

Не прожить мне ни года, ни месяца,
Не послушав безмолвной реки!
Как влюбленному нужно мне встретиться
И смотреть, и ласкать огоньки!

Москва, 29.08–8.10.1944

ЯНВАРЬ

Затерялась за снежной пылью
Голубая пурга созвездий.
Долгожданное станет былью
В этом вихре грозных возмездий.

Вьётся снег январской метели
Для того, чтобы бури стихли.
Мы так долго стужу терпели,
Чтоб увидеть последние вихри.

30.01.1945

СОЛДАТ

Это было в утреннем зареве.
По дорогам скрипел мороз,
И распятый иней вздрагивал
На крестах поникших берёз.
Покидали город за городом,
Оставляли версту за верстой.
Замерзали села и слободы
На солдатской щеке слезой.
Он не знал, где с врагом повстречается
И не думал дожить до седин,
Только верил, что войны кончаются,
И конец будет – павший Берлин.
В подмосковных горящих дачах,
Когда в город стучалась смерть,
Знал, и мысли не было слаще:
Фридрихштрассе так будет гореть!
Когда край, где, как в церкви все свято,
Мессершмидты летели бомбить
Месть кипела в стволе автомата:
Так же немцам придётся пожить!

.....

И заря разгорелась в пламя,
И за Одером стелется дым –
Русский воин идёт городами,
За которыми – чёрный Берлин.

Москва, 27.02.1945

* * *

Мои волосы в книжной пыли,
Их бродяга-ветер не трогал,
Почему же я так полюбил
Незнакомые раньше дороги?

Может, в детстве усталая мать
Рассказала о странствиях деда,
И мальчишкой я начал мечтать
Лишь о том, что никто не изведал.

И поэтом я стал потому,
Что в дорогах нельзя без песни,
И тебя полюбил, как весну,
Чтоб в пути быть с весною вместе.

Много вёрст через жизнь пролегло –
Все измерены будут шагами.
Я над книгами юность провёл,
Чтобы век не расстаться с путями.

7.06.1945

* * *

Ветер пришёл ноябрьский –
Крепки морозные мышцы.
Месяца нож дамасский
Согнул упругим серпом.

Последние листья срезал,
Последние травы сгладил,
Расплавил туман над лесом
И город спалил зарёй.

Он крепкие мышцы мороза
Ковал на мою погибель
И зорям факелы роздал,
Чтоб сердце мое спалить.

Невежда не знал, что сердце
Давно зажжено весною,
А, значит, в майскую пору
До пепла оно сгорит.

11.11.1945

КАСИМОВ

Минарет, собор, да церкви,
Звон, да крики муэдзинов –
И встаёт из песни старой,
Пестрый, древний град Касимов.

Конь, дракон, дробящий берег,
Шлем пылает жаром стали,
А в глазах костры степные
У святого Шаха-Али.

По Оке проплыли струги,
За рекой в лесах зарницы,
Пётр Великий, крест заметив,
Шапку снял перекреститься...

А над градом бусурманский
Серп сиял на минарете –
Царь велит палить из пушек
В полумесяц, по мечети!

Гнев Петра, как гнев аллаха –
Дым рванулся сизым змеем

.....

И теперь мечеть зовётся
Краеведческим музеем

На Оке осколки радуг –
Блёстки нефти и бензина,
Там взывают пароходы,
Вместо древних муэдзинов.

Лишь беззубая татарка
У гробницы Шаха-Али
Свой Коран бормочет сонно,
Новых вер не понимает...

Потекут века Окою,
Минут лета, стают зимы,
Ты останешься, как песня,
Пёстрый, древний град Касимов!

20.08.1945

* * *

Маленькая девушка
В тесном вагоне
Везла букет черёмухи,
Песню весны.
Все мы торопились,
Но каждый понял
Зов еле слышный
Свежей листвы.
В тёмном лабиринте
Серых тоннелей
Всем загрустилось
О вольных ветрах....
А мимо бетонные
Стены летели –
У маленькой девушки
Букет был в руках...

25.05.1945

* * *

Расправляет ветер крылья.
Вверх и вниз
Одинокие снежинки
Понеслись.

А по городу проходит
День и век –
Жизнь вихрится, суетится,
Взлёт и бег.

И снежинки ищут в ветре
Друга друг,
Чтоб плотней задёрнуть город
В снежный круг.

И любовь приходит к людям
Той порой,
Но не тает, как снежинки,
Вдруг весной.

27.12.1945

НОЧЬ

Взметнула ночь свой чёрный плащ
над миром,
Волшебным снам дорогу указав,
Украсив небо гроздьями сапфиров
И привидений из могил призвав.
А воздух тих, в нём не дрожит ни звука,
Деревьев призраки торжественно стоят,
И кажется, что горькая разлука
Заставила надеть их траурный наряд.

1943

В ПЕРЕУЛКЕ

Ага! Я знал, что мы встретимся здесь,
В переулке и ночью, и в дождь,
Знал давно, что в тебе заклокочет месть
И что буду молить: «Не трожь!»
А ты, прохрипев свою пьяную брань,
Занесешь как топор костыль:
– Тыловая, крысиная мать и дрянь, –
Разорвёт дождевую пыль.
Но я, прозрев безысходье окоп,
Твой удар, как награду, приму,
Пьяный до чёрта, калека-циклоп,
Перенесший гору-войну.

18.05.1945

* * *

Я живу в непонятном городе,
Он струится старинной готикой.
Затонул в океане времени,
Как корабль, до самого клотика.

Его ночь просмолили дочерна,
И легенды в объятьях стиснули.
Много песен хранит неоконченных,
Много повестей незаписанных.

Если в море уйти под парусом
Или ночью брести по берегу,
За спиною копьём останется
Чёткий облик, огнями смеренный.

Я люблю, когда зори распластаны,
Видеть замок над тесной площадью
И столетия башен пасмурных,
Осенённых красным полотнищем.

Авг. – сент. 1946

* * *

Я был в краю,
Где меряют пути,
Не километрами, а днями.
И если песня в душу залетит,
То навсегда врастёт в неё корнями.
И будут петь
На трактах шофера
В сибирскую простуженную осень
Такие ж песни
Что поют ветра,
Когда хотят дожди на землю бросить.
Мотив тягуч,
Как путь среди болот
В осоке звонкой, режущей и грубой.
Лишь песня ширь такую принесёт
И, точно хлеб, положит людям в губы.
Узнаешь, если любишь эту ширь,
Её народ, выносливый и честный:
У песни есть душа,
Её зовут Сибирь,
А у Сибири душу
Кличут песней.

Новосибирск – Москва. Поезд
02.09.1947

* * *

Хорошо историю земли
По названьям станций выучивать,
По вечерним песням вдали,
По кострам на речных излучинах.

Здесь когда-то платили ясак,
И горбатые вётлы плакали,
А теперь – на четверть часа –
Остановка в Ясакове.

Я узнал, проезжая Рязань,
Там, где зори спят за покосами,
Почему у милой глаза
С чуть заметной татарской раскосиной.

Январь 1948

* * *

Скоро будет весна –
По излучинам
Завертелся жёрнов метели.
Тёплый ветер,
Мельник измученный,
Зимний месяц последний мелет.

И туда в бездорожье дальнее,
Где уснули речные истоки,
Вижу: годы идут урожайные
Чередой по снегам глубоким.

Лёд ломает с размаха молотом
Молодая весенняя сила.
Под сугробами залежи золота
В изумрудной руде озимых.

15.03.1947

* * *

Сибирские дожди на сотни километров
Навесили намокшее крыло.
Запутались в степях косые ветры,
Метлой дождей ударили в стекло.
Сидеть и слушать, как ворчит спросонья
Чугун копчёный в жарком очаге,
Как ветер песни пасмурные стонет,
И бродит дождик на одной ноге...

О, этот дождь, слепой и одноногий!
Прохожих поджидает за углом.
Ему подвластны долгие дороги
И каждый день, и каждый час, и дом.
Наверно так, неслышная для слуха,
Невидимые чётки теребя,
Приходит осень – серая старуха
В сибирской шали ветра и дождя...

Алтай, 10.08.1947

* * *

Ночь просыпала в небо
Светлой пшеницы мешок,
И падают зёрна хлеба
Светлой звездою в лог.

Много веков неустанно,
Презрев города и дворцы,
Питались этой манной
Поэты и мудрецы.

А мне каждой ночью снится
И видится каждым днём
Усатый стебель пшеницы,
Завязший в крутой чернозём.

Алтай, 10.08.1947

* * *

Над лужами – фонарные круги,
У пресных капель стал весенним вкус.
Уж сколько вёсен ты идёшь с другим,
А я с другой тебя забыть боюсь.

И помнится: раскосая капель
И фонаря полузакрытый глаз...
Вот только детства нет со мной теперь,
И ты с другим встречаешь этот час.

04.02.1946

* * *

Моя судьба –
Идти навстречу ветру
Февральской ночью,
Белой от луны.
Как хорошо, что песни недопеты,
И мне всегда сопутствовать должны!
Косматую, упрямую стихию
Своим плечом
Я побороть могу.
Пускай останутся в полях большие следы,
вплетённые в пургу.
А если ветер
Ночью замурует
Весь путь по бездорожью,
сквозь метель.
Не мне жалеть:
я радость знал такую,
какой никто увидеть не сумел!

05.02.1947

* * *

Леса проржавели насквозь
От сырости осенней,
И вспыхнула за гроздью гроздь
В рябиннике вечернем.

Ночная светится вода
В озёрах звездооких.
Нам всем в туманах пропадать,
Искать свои дороги.

Но всё равно одним узлом
Сплетаются все тропы,
Мы по одной земле идём,
С одной большой заботой.

Мутнеет день вдали равнин,
Речные глохнут всплески,
А нам пылать костром рябин
У ржавых перелесков.

07.08.1946

ИЗ HEINE

Посвящается Э. С.

Все мучить меня старались
И злили наперебой
Одни своей любовью,
Другие своей враждой.

Они давали мне яду
Со всем: с питьём и едой.
Одни своей любовью,
Другие своей враждой.

Но ты, что всех больше мучишь,
Всех больше несёшь беды,
Ты вовсе меня не любишь,
Не знаешь ко мне вражды.

Алтай, 05.08.1947

* * *

Если человеку двадцать лет –
Значит, жизни – непочатый край.
Можешь встать у изголовья рек
И смотреть, как непокорен май.

Можешь слушать, как поют ручьи,
Охватив руками шар земной,
Как уверенно в груди стучит
Сердце, переполнено весной.

Есть простая мудрость на земле,
Для тебя её народ хранил:
Счастье лишь тому покажет след,
Кто в работе не жалеет сил.

Москва, 07.03.1947

* * *

Дождь по мокрой дороге прошёл,
Да упала звезда в колесник.
Потому на душе хорошо,
Что путями я меряю дни.

Грусть и радость слились на губах,
Точно пресные капли дождя,
Улыбается осень в садах,
Нарядилась, невеста моя.

Все дороги с улыбкой пройду,
Буду видеть сквозь дождь и метель
Жёлтых листьев твоих чехарду,
Тонких веток твоих канитель.

Эту радость осенних полей,
Эту грусть паутины степной
Подниму на дороге своей,
Далеко унесу за собой.

1946

* * *

В эту ночь не верится,
Что меня ты любишь:
Белая метелица
По дорогам кружит.

Ей веселье дикое
По лесам белёным
Обнимать высокие
Стонущие клёны.

Улетит и скроется,
Вдали завывая.
Клёнам долго помнится
Ласка снеговая.

Москва, 11.05.1947

* * *

Теперь я всё научился ценить:
И соль, и огонь, и хлеб.
Далеко захлестнулась дорог моих нить
За горы, леса и степь.
Я всё решил в этой жизни узнать
Мне покой не гож и не мил.
Полюбил, как колёса в равнинах стучат,
Как горька дорожная пыль.
Услышал сквозь дали звонкую медь,
Прочитал в книге судеб:
Самое важное в жизни – уметь
Ценить соль, огонь и хлеб.

10.08.1947

* * *

В улицах осень пьяная,
В улицах листья сбитые.
Ищет меня нежданная,
Радость моя забытая.

Где же с тобою встретимся?
Как же с тобою свидимся?
В улицах ветер плещется,
На небе север искрится.

А у тебя июньские
Руки, как вечер, тёплые...
Лает ветер науськанный
В улицы, бурей стёртые!

Ведь у тебя, как лунные,
Волосы ночью светятся,
Где в эту ночь чугунную,
Как мне с тобою встретиться?

И почему, без разума,
Осень проходит пьяная?
Весело мне несказанно,
Радость моя нежданная!

07.08.1946

* * *

В голубое марево ржи
Сходит солнце для сна непробудного.
Я люблю эту грубую жизнь,
Эту землю большую и трудную.

Над рекой – кудлатый костёр.
Ветер дышит запахом рыбы.
Точно сонный сом, разговор
Заворочался под обрывом.

Невод свесился у реки.
Днём в его распростёртые руки
Билось звонкое сердце Оки
Серебрёным лещом и щукой.

Мне бы так эту реку обнять.
Я хочу её песни помнить,
Чтобы век ударяли звеня,
Её воды в мои ладони.

11.01.1947

Im Walde wand lich und weine...
Heine

* * *

Я по лесу брёл и плакал,
А дрозд,на вершине сидя,
Спросил меня очень нежно:
«Кто тебя, друг, обидел?» –

«Ласточки-сёстры, знают,
Они рассказали б тебе –
Они свили, хитрые, гнёзда
У милой, в самом окне.»

14.02.1946

* * *

Осенняя, морская синь
И в небе, и в воде,
И солнце чистое висит
На золотом гвозде.

Встал город, как большой орган,
В готической кирке,
Он гимны западным ветрам
Гудит один в тоске,

А я по берегу иду,
Плывут цветы медуз,
И море эти вот стихи
Мне шепчет наизусть.

Пяяскюла, 22.08.1946

Содержание

Несколько штрихов к портрету друга 5
Автобиография 7

Книга первая «ПРОРУБЬ» 1968 9

Зелёным филином уселся можжевель... 10
Поджарые сосны и тощий вереск... 11
Весёлых стекляшек апрель нанизал... 12
Стал снег зернист... 12
Городишко просяно-овсяный... 13
НИТИ ОСЕНИ 14
Не надо ветки обрезать... 20
Река ещё жива... 21
Из дыма волосы... 22
ДОЖДИ 23
Принесите в дом корзину яблок... 27
Утром... 28
У каждого музея краеведенья... 29
ОРГАННАЯ МУЗЫКА 30
На лицах, точно в книге для приезжих... 31
СЕВЕРЬЯН 32
СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ ДЕРЕВЬЕВ 33
СТАРУХА 34
ДРАКОНОВО ЯЙЦО 36
Кто шаманит в шаманьих просторах? 37
Кровь августа – шиповник и брусника... 38
ГДЕ-ТО 39
Водорослей принесу и листьев... 40
Дырявый накомарник... 41
Откуда здесь крабы? 42
РОЖДЕНЬЕ РЕК 43
Погасли горы. Нам пора... 44
Ни росчерка... 45
Много красок не надо... 46
ЖИЛЬЁ ЧЕЛОВЕКА 48
Подмастерьем бы стать у Байкала... 50
Таинственно и тихо птицы... 51
Жестяные цветы на воротах сада! 52

Я люблю переулок... 53
Я боюсь поездов... 54
В театре... 55

Книга вторая «КРАСКИ СЕВЕРА» 1972 57

Лавчонка «Семена»... 58
Ещё вокруг деревья голы... 59
Через июльские покровы... 60
ВЕСНА 61
Кто видел, как выходят из под снега... 62
Радость первого снега! 63
Аптекарский настой осеннего болота 64
На тонких ветках... 65
Река в холодной чешуе... 65
НОЧНОЙ ДОЖДЬ 66
От угля синих звёзд... 68
Звериные шкуры висят на дубах... 69
В полях слюда и соль... 70
Мне дайте пеночку... 71
Развозит дорогиж... 72
Что за лакомство – боярышник! 73
Я прилечу в серебряном апреле... 74
Птицы влетают в костёр через пламя... 75
АПРЕЛЬ 76
Завешены дали дымком диковатым... 77
В реке вымой голову... 78
Всё знаю: там руки и губы в малине... 79
Тайга пахнёт пчелиным ядом... 80
Смыкаются невидимые двери... 81
Беззвездие... 82
Скрипучие блоки пропели: «Прощай...»... 83
ВЕШНЯЯ ТАЛОСТЬ 84
На взлётном поле пахло морем... 85
ДЕЙСТВО ДЕТСТВА 86
А тут ещё живёт густая тишина... 88
Земля волнуется и хохлится... 89
На Север... 90
Так всегда... 91
Вечерние птицы к вечерним летят берегам... 92
Тала́ из свежего сига... 93

ЧУМ ... 94
Если б на стене... ... 95
СЛОВА ШАМАНЬИ ... 96
Так много скудности... ... 97
ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ ... 98
ОМУЛЬ ... 99
Узор досок убог и сер... ... 100
Это свечение моря... ... 101
ВЛАДИВОСТОК ... 102
Не доверяй... ... 103
Где грань... ... 104
Зачёркнуто чудо тяжёлым ненастьем... ... 105

Книга третья «ОБЛИК СТРАНСТВИЙ» 1976 ... 107

Талантливые неудачники... ... 108
НОЧНЫЕ ОКНА ... 109
ЧАСОВЩИК ... 110
ВЕДУНЬЯ ТРАВ ... 112
Морщины по лицу – как причудливые перья... ... 113
О почему же, проходя мимо лотков... ... 114
А человека нет... ... 115
ВИДЕНИЕ В ВИЛЬНЮСЕ ... 116
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ... 118
Извлечение звуков... ... 121
ЦЕРКОВЬ ЛАЗАРЯ МУРОМСКОГО В КИЖАХ ... 122
Мысль... ... 124
Как странно простирают рукава... ... 125
Есть лоция моря... ... 126
Мы там ещё живём... ... 127
МЕДАЛИ ... 128
СВАЛКА ... 129
ДЫХАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ... 130
ЛУННЫЙ СВЕТ ... 132
Весенний грохот лыж о наст... ... 137
На Лене лёд... ... 138
Разве что-нибудь значит... ... 139
Нет, это не для слуха... ... 140
Лето пахнет шпанской мухой... ... 141
Был долгий снегопад... ... 142
ТАК НЕ БЫВАЕТ ... 143

УПЛЫВАЕТ НА ЛЬДИНЕ ... 144
ПРОЩАНЬЕ ... 145
Как мы хохотали! ... 146
Спящий ребёнок... ... 147
Прихожу «проходить курс лечения»... ... 147
Природа наивна, как ребёнок... ... 148
Два мира со мной... ... 149
ЗАКЛИНАНИЕ ... 151
НОЯБРЬ ... 152
ПОЛДЕНЬ ... 153
Резко пахнут акварелью... ... 154
БЕРИНГОВО МОРЕ ... 155
Сядь вечером, зарёй оплавленным... ... 156
Сибирские дожди... ... 157
ТИХИЕ ДАРЫ ... 158
ЗЯБЛИК ... 159
В июне топим печь... ... 160
Земля ещё не создана... ... 161
МАЙ ХОЛОДНЫЙ ... 162
БАРХАТНАЯ ТИШИНА ... 163
Птицы сирин и феникс, и жар... ... 164
ДЕРЕВЬЯ ... 165
Ножи гладиолусов режут... ... 169
Последний снег белёс и жалок... ... 170
ВОДА И ВЕТЕР ... 171
ХОЛОДА ПРОБУЖДЕНЬЯ ... 172
Родятся горы, глина и вода... ... 173
Сады, как тугие корзины... ... 173
На картофельном поле... ... 174
ПОСЛУШАЙ ПУСТЫНЮ ... 175
МИГ ПЕРВОТРАВЬЯ ... 176
На Севере древней Европы... ... 177
ОБЛИК СТРАНСТВИЙ ... 179

Книга четвертая «МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КОРЕНЬ» 1983 181

ВЕРЕНИЦА СУДЕБ ... 182
ЗАПОВЕДНЫЕ ГОДЫ ... 183
ВОСПОМИНАНИЕ О ГОРОДЕ ... 184
КОЕ-ЧТО О ТВОРЧЕСТВЕ ... 185
НИТЬ ВЕЩЕЙ ... 186

НЕЧТО О НУМИЗМАТИКЕ ... 187
ГРАБИТЕЛЬ ГРОБНИЦ ... 188
МЕЖА ... 189
ПЕРЕУЛОК ... 190
ДОЖДЬ НА ДОРОГЕ ... 191
ДУШИ ДЕРЕВЬЕВ ... 192
СКОРЛУПА СЕБЯЛЮБИЯ ... 194
ЭТОТ ДЕНЬ ... 195
ПОСТУПЬ ЛЮБВИ ... 196
СЕНТЯБРЬ ... 198
КАПЛЯ ЛЕТА ... 199
ПАМЯТЬ ... 200
ГОРДЯЧКА ... 200
ДНИ ПРОШЛЫЕ ... 201
ПРОДОЛЖЕНИЯ ... 202
МОСТ И ЗВЁЗДЫ ... 203
ВОЗЛЕ СПЯЩЕГО СЫНА В ПАРКЕ ... 204
СНЕГ В СЕНТЯБРЕ ... 205
ПОСЛЕ ПУРГИ ... 206
Ивняк у обочин... ... 207
Теряет зима... ... 207
СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА ... 208
КОСТРИЩА ... 210
КАПЛЯ ... 211
МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КОРЕНЬ ... 212
ПРОХОДЯ ВДОЛЬ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ... ... 213
РОЗА ПОЛЯРНЫХ ВЕТРОВ ... 214
ОСЫ ОСЕНИ ... 215
УТРЕННИЙ ИНЕЙ ... 216
ОЗЁРА ... 216
ЖИМОЛОСТЬ ... 217
ОСЕНЬ ... 218
КУПИТЕ ЧТО ХОТИТЕ... ... 219
В СТАРОМ КОЛОМЕНСКОМ ПОД СЕНЬЮ ... 220
СУЩЕЕ ... 221
ВРЕМЯ ... 222
ПРАЗДНИК ТИШИНЫ ... 224

ВЕШКИ ВЕСНЫ

ЧАСЫ ВЕСНЫ ... 225
ЧЕРЁМУХОВЫЙ ПАРУС ... 226

СВЕЖЕСТЬ ЯБЛОНЬ ... 226
ЖАВОРОНОК ... 227
ТЕПЛОТА ВЧЕРАШНЯЯ ... 228
ВОДА, ЯБЛОНИ И ЗВЁЗДЫ ... 229
ВЕСЕННЯЯ ЖИВНОСТЬ ... 230
КОСЬБА ... 232
ТАИНСТВО ВСЕЛЕНСКОЕ ... 233

Книга пятая «СОН О ПТИЦЕ» 1996 ... 235
ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ... 236
I. КОВЧЕГ ... 237
Был дом, как ёлочный фонарь... ... 237
НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ НИТЬ ... 238
КТО ОН? ... 239
Всё шатко... ... 240
ПОСЛЕДНЯЯ РАДОСТЬ ... 241
ЗАПОЗДАЛОЕ СООБРАЖЕНИЕ ... 242
Где только можно опоздать... ... 243
ЗНАЮ ВАС, НЕВЕДОМЫХ... ... 244
Я вылетел в трубу... ... 245
Беседую с другом сквозь толщу времен... ... 246
Наивны были мы и пылки... ... 246
ТАБЛЕТКИ РАВНОДУШЬЯ ... 247
ВЫВОД ... 248
ДУША ... 249
Жизнь человека – это сад... ... 249
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ ... 250
ЛИЦА ... 251
СЕСТРА ОКЕАНА ... 252
Он сторожит арбузы... ... 253
НАСЕЛЬНИКИ ГЛИНЯНЫХ КОРЧАГ... ... 254
С шести утра продажа водки... ... 255
ПАМЯТНИК ПОЭТУ ... 256
ТЕБЕ О ТЮИЛЬРИ ... 257
ПАМЯТНИК ... 258
КОВЧЕГ ... 259
II. ВЛЮБЛЕННОСТЬ ... 260
Красотою чуткою чиста... ... 260
Хочу стать кувшином... ... 261
Повадки стариков... ... 262

В эту ночь, что черна и бела... 262
Стать дурочкой... 263
ЧУДО 264
Не берегут любимых, не щадят... 264
ТАИНСТВО ПЛОТИ 265
Ярость солнца азийского... 267
НАИТЬЕ 268

III. СВЯТЫНИ 269
ИЗБА 269
СОБОР 271

IV. ЛИСТЬЯ 276
А ЗНАЕШЬ... 276
Отцвёл багульник 277
ДЕКАБРЬ 278
НЕВОЗВРАТИМЫ... 279
Обрывок моря: чайка, яхты... 280
КАРТИНА ДЕКАБРЯ 280
ЧТО ДОСТАЛОСЬ... 281
РЯБИНОВЫЙ ПРАЗДНИК 281
САД 282
ОВРАЖНЫЕ ТАЙНЫ 283
ШАХМАТОВО 284
Богатство скудости родной... 284
СЕЛЕНА 285
МОТИВ СЕНТЯБРЯ 286
РИСУНОК И ПЕСНЯ ВЕСНЫ 287
Никак листвой не разродятся... 288
Слиток янтаря – осенний парк... 289
Чем весной мне тебя улещить? 289
МЕТЕЛЬНОЕ 290
ЭТОТ ЗВЕРЬ, ЧТО ПРЕСЛЕДУЕТ ОСЕНЬ 291
ВЕЛИКИЙ ХОЛОД 292
В ювелирной лавке осени... 293
РАЗНОКРЫЛОСТЬ 293
СОН О ПТИЦЕ 294
Деревьев почерк... 295

Книга шестая «ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ» 2000 297

I. НА СЛОМЕ ВРЕМЁН 298
Последняя птица... 298
Лежу на вихре... 299
Обмылки, окуски... 300
КНЯЗЬ ТЬМЫ 302
СМЕРТЬ МАСТОДОНТА 303
Бреду в бреду... 304
В нашей проклятой Богом стране... 305
Не наследных наделов насельники... 306
Лист последний... 307
СЫЧ 308
КРУШЕНИЕ 310
Кижи мертвы... 311
САМИ 313

II. ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА 315
Ледяная планета... 315
Если холод и хмурь... 316
СКИТ 317
О ГРОЗЕ 318
Очень уж река синя... 319
Пора к наплывам рек... 320
Беспомощные... 321
Найди мне что-нибудь другое... 323
Платформа. Ночь... 323
ПЯТЬ КАПЕЛЬ 324
Когда свалили порыжелые заборы... 324
ЧЬИ-ТО ШАГИ 325
Как долго не мог я поверить... 325
В зелёных комнатах торжественного парка... 326
Снежинки перестали быть снежинками... 327
КОЛОКОЛ 328
КОЛОКОЛ СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ 329
Мелькнула жизнь в годах и днях... 330
ТИШИНА 331
ТЬМА 331
КОГДА ВПРАВЕ... 332
ПЕРВОЦВЕТ 333
СЕВЕРНОЕ ПОСЕЛЕНЬЕ 334

Старик... 335
Вечер с бреднем тумана бредёт... 336
Разверзлись дали – тянут, словно пропасть... 336
Не лицемерит мерзлота ни в чём... 337
Был Урал... 339
СТРАСТИ СТРАНСТВИЙ 340
СИБИРЬ НЕ ПРИНИМАЕТ 341
МИР ОСЕННИЙ 343
Леса – пристанище деревьев... 345
СПОЛОХИ 346
Приишимье завернулось в индевелый лён берёз... 347
Снег придавленный лыжей... 348
Жгут листья... 349
ОСЕННИЕ КАРУСЕЛИ 350
Море труженик вечный... 351
О маленькое чудо осени... 352

III. ЛИЧИНЫ И ЛИКИ 353
Лицо за решёткой тяжёлых морщин... 353
Мир старых фотографий молод... 354
УСПЕХ 355
СКРОМНИЦА 356
ЛИЦЕДЕЙ 356
ОЧЕВИДЦЫ ПОНАСЛЫШКЕ 357
Делёж наследства в доме престарелых... 358
Славьте мёртвых! 359
ИЗВЕСТНОСТЬ 360
Запрятать рукопись! 362
КРАСАВИЦА 363
ПОКОРИТЕЛЬ ЗЕМЛИ 364
Лепит в лужи лотерейные билеты... 366
И человек становится великим... 367
Что нужно для рожденья красоты? 368
Промозглым утром... 368
О балагуры... 370
Приходит к старости... 371
Все памятники... 372
Учитесь у осенних мух... 373

IV. ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛИРИКИ 374
В бессмысленной настырной толчее... 374

Пустой значительностью полон... 375
Не жизнь, а жухлый том «записок»... 376
Казённый небосвод казённых звёзд... 377
ТРЕЗВЕННОСТЬ 378
У канцелярской скрепки... 379
ПЕРВЫЙ СНЕГ 380
Мне предстоит встреча с чиновником... 381
Из канцелярской лирики 382

V. БАЗАРНЫЙ БЕС 384
ПТИЦА СКОПИДОМ 384
ЗЕЛЁНАЯ КОПЕЙКА 385
Боюсь владельцев дач... 386
БАЗАРНЫЙ БЕС 387
ДОБЫТЧИКИ ПИЩИ 388
ПОСЛЕДНИЙ МЕРИН 389
ЖЕСТЯНАЯ МЕЧТА 390
БАЗАР 391
СРЕДИ ВЕЩЕЙ 392
НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ 394
ЛЕСТНИЦА ПРЕСТИЖА 394

VI. РЕСТОРАННЫЙ МОТИВ 396
По-византийски изукрашен... 396
Жалкая роскошь гостиниц... 397
Эй, трубач... 398
По-свиному вина перепив... 400
Что думала пальма в углу ресторанного зала? 400
ПРОПОЙЦЫ 401
В НЕПОГОДЬ 402

VII. ШУТОВСКОЙ КОЛПАК 404
ШУТ 404
МЕЧТАЛЬНОЕ 405
На совещании поэтов было парно... 406
МОНТАЖНОЕ 407
ЭПИГРАММКА 407
ФИЛОСОФСКОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ 408
ПРОСТОЕ РАЗДУМЬЕ НАД СОБОЙ 409
ПОЭТИЦКО-ЭПИЦКОЕ 410

ЛИРИЦКОЕ ... 411
РАЗМЫСЛИТЕЛЬНОЕ ... 412
УРУГВАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ... 412
ХРЯК ... 414
В КУЛЬТНАРЯДЕ ... 416
ВЫКРУТАСЫ КАЧУЧА ... 419
ПОРЯДОК У ЩЕЙ ... 420
ОЧЕРЕДНОЙ МУДРЕЦ ... 422
CHARMANT, CHARMANT ... 423
СОБАКОВОДЫ ... 424

VIII. ВЛЮБЛЁННОСТЬ ... 425
В этом городке... ... 425
Судеб скрещенья... ... 426
В нелёгкой жизни надо жить легко... ... 427
Сделаешь разбойничью причёску... ... 428
Без будущего встречи... ... 428
СЛЕДЫ ... 429
БАРЖА ... 430
УБИЕНИЕ ... 432

IX. ДЕЙСТВО ДЕТСТВА ... 433
ПОГЛОЩЕНИЕ ... 433
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ ... 434
В МИРЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ ... 436
ОТКРОВЕНИЯ ... 438
ТЕАТРИК ... 440
Передвижение с детьми на поездах... ... 441
ИСТЯЗАНИЕ ... 442
НАЧАЛА ... 443

X. ИСКУС ИСКУССТВА ... 445
ДРЕВЕСНЫЙ МОТИВ ... 445
БАЛАГАН ТЕЛЕВИДЕНИЯ ... 446
О ВЕЛИКИХ ... 448
ПРИТЧА О ТВОРЧЕСТВЕ ... 450
АРТИСТ ... 451
ТЕАТР И ИСТОРИЯ ... 452
КИНО И ИСТОРИЯ ... 454
Убеждали творца-современника люди... ... 456
О ВИНОДЕЛИИ ... 457

ЧИТАЯ... 458
СТИХИ О СТИХАХ 459
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 460
ЗВЁЗДЫ 461
ИСКУССТВО 462
Всё больше красок впитывает взор... 463

XI. ВСЯ ЖИЗНЬ 464
Всё глубже погружаюсь в годы... 464
ВО ДНИ ПЕЧАЛИ 465
Тянусь я несмело... 466
ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА 467
Этот берег... 469
Когда душа переболеет... 470
Не жалей о сделанном... 470
Доверьтесь незнакомым... 471
Так смотрят на огонь и воду... 472
ДЛЯ СОВЕТА С ДОЖДЁМ... 473
ЕГИПТЯНИН 474
Из пряжи времён и просторов... 474
В тягучей тине бытия... 475
Восход, закат ли – равно медны... 476
ПОУЧЕНИЕ 476
Вот череп. Сквозь него – трава... 478
За благо – всем благодаренье... 479
Почаще делайте, как хочется... 479
ЗЛЫДНИ 480
ПРИТЧА О ПРАЗДНИКЕ 480
Жизнь пчёл... 481
ЖИЗНЬ 482
НАДЕЖДА 483
Мир закоулков привокзальных... 483
ИНОГДА 484
ЗЛО 486
ТАЙНАЯ ПРУЖИНА 488
Большой нелепый город... 489
ЛИЦО НАШЕЙ ИНДУСТРИИ 490
ДАР ОГРАНИЧЕНЬЯ 492
ШЕСТЬДЕСЯТ МИГОВ 493
ГОРЕ 494

Перехожена земля... 494
ВЫБОР 495
Засилье болтунов... 496
СРЕТЕНЬЕ 497
ПРИТЧА О ПРОСТОТЕ 498
КОЕ-ЧТО ОБ ИСТИНЕ 498
КОРОБ 499
МЕРА СЧАСТЬЯ 501
КРУГ СОБЫТИЙ 502
Когда поймётся: больше не могу... 503
ПРЕДЕЛ СУДЕБ 504

XII. ДОМАШНИЕ ДИФИРАМБЫ 521
ВЕЛИКИЙ ПРОФЕССОР 521
ЮБИЛЕЙНЫЙ САМОГОН 522
МОЙ НОВЫЙ ДОКТОР 523
ЛЕЙЛА 524
Осенняя морская синь 525

Книга седьмая «НАЧАЛО ПЕРЕД КОНЦОМ» 2002 527
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 528
ПОДВИЖНИКИ 529
ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗМА 530
Накрывшись в непогодь рогожей... 530
В МЕТРО 531
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 532
В БАНЕ 533
ОФИГЕННЫЙ ПОФИГИЗМ 533
УМУЧЕННАЯ РУСЬ 534
Комедиант ломал комедию... 535

СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ *(из юношеских стихов)* 537
НА ПОДНОЖКЕ 538
ПОЧЕМУ? 539
НОЯБРЬ 1943 ГОДА 540
Флегматичная кошка в старом дедовском доме... 541
ПОТОМОК ВОЙНЫ 542
ВЕСТЬ 544
ВЕСНОЙ 545
ГРАНИТ 546

РАЗДУМЬЕ ... 547
БУДУЩЕЕ ... 548
ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ ... 549
ЗАПАД ... 550
ПОСЛЕДНЕЕ ... 551
ВОЙНА ... 552
ПОХОД ... 553
Я люблю широки улиц... ... 554
ДЕРЕВНЯ ... 555
ПЕРВЫЕ МЫСЛИ О ГОРОДЕ ... 556
В тьме ночей я часто вспоминаю... ... 557
ПОЭТУ ... 558
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ ... 559
ПОТОМОК ... 560
Ворон пусть зловещим карком... ... 561
СНОВА ОСЕНЬ ... 562
ПОТОМКАМ ... 564
Некому отдать слова стихов... ... 565
МОСКВА ... 566
ЯНВАРЬ ... 568
СОЛДАТ ... 569
Мои волосы в книжной пыли... ... 570
Ветер пришёл ноябрьский ... 571
КАСИМОВ ... 572
Маленькая девушка... ... 574
Расправляет ветер крылья... ... 575
НОЧЬ ... 576
В ПЕРЕУЛКЕ ... 577
Я живу в непонятном городе... ... 578
Я был в краю... ... 579
Хорошо историю земли... ... 580
Скоро будет весна... ... 581
Сибирские дожди на сотни километров... ... 582
Ночь просыпала в небо... ... 583
Над лужами – фонарные круги... ... 584
Моя судьба... ... 585
Леса проржавели насквозь... 586
ИЗ HEINE ... 587
Если человеку двадцать лет... ... 588
Дождь по мокрой дороге прошёл... ... 589

В эту ночь не верится... 590
Теперь я всё научился ценить... 590
В улицах осень пьяная... 591
В голубое марево ржи... 592
Я по лесу брёл и плакал... 593
Осенняя, морская синь... 593

Николай Димчевский
СЕМЕРИК СТИХОВ

Верстка *Вероника Саченко*
Корректор *Татьяна Самсонова*
Художественное оформление *Нина Рассадина*

Подписано в печать 25.12.08.
Формат 84×108/32. Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № .

Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.